

ТОМАС  
ГАРДИ

Вдали от безумной  
ТОЛПЫ



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Томас Гарди

**Вдали от безумной толпы**

«АСТ»

1874

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

## **Гарди Т.**

Вдали от безумной толпы / Т. Гарди — «АСТ»,  
1874 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-104760-3

В романе «Вдали от безумной толпы» Гарди раскрывает великую и вечную драму отношений мужчины и женщины. В свое время яркая, непростая история любовного треугольника независимой и гордой Батшебы, унаследовавшей ферму в глуши Северной Англии, крестьянина Габриэля Оука и «пришельца из городской цивилизации» сержанта Троя стала настоящим литературным скандалом. Что интересно, роман Гарди по-прежнему считается скандальным и нарушающим «основы основ» уже нынешнего общества. Так как же удалось Гарди затронуть струны души читателей трех столетий?..

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-104760-3

© Гарди Т., 1874  
© АСТ, 1874

## Содержание

Предисловие	6
Глава I	8
Глава II	11
Глава III	15
Глава IV	20
Глава V	26
Глава VI	29
Глава VII	34
Глава VIII	37
Глава IX	48
Глава X	52
Глава XI	56
Глава XII	59
Глава XIII	62
Глава XIV	65
Конец ознакомительного фрагмента.	67

# Томас Гарди

## Вдали от безумной толпы

Thomas Hardy

FAR FROM THE MADDING CROWD

Школа перевода В. Баканова, 2017

ООО «Издательство АСТ», 2017

## Предисловие

Подготавливая книгу ко второму изданию, я не мог не вспомнить о том, что именно в главах этого романа, которые одна за другою публиковались в номерах ежемесячного журнала, я впервые отважился заимствовать слово «Уэссекс» из древнеанглийской истории, чтобы назвать им вымышленную область, существующую на месте исчезнувшего королевства. Замышляя несколько романов с общим местным колоритом, я должен был дать описываемым событиям некое географическое определение для обеспечения единства действия. Понимая, что границы одного графства не позволят мне развернуть достаточно широкого полотна, однако не желая использовать вымышленное наименование, я взял наименование историческое. И пресса, и читатели любезно одобрили мою затею, охотно нарисовав себе анахроническую картину Уэссекса, живущего под властью королевы Виктории, – Уэссекса железных дорог, однопенсовых почтовых отправок<sup>1</sup>, шведских спичек, косильных и жатвенных машин, работных домов, крестьян, обученных грамоте, и детей, посещающих бесплатные школы. Полагаю, я не ошибусь, если скажу, что до 1874 года, когда этот современный Уэссекс ожил на страницах настоящей книги, о нем никто ничего не слыхивал, и выражение «уэссекский крестьянин» или «уэссекский обычай» относилось к миру, существовавшему до норманнского завоевания<sup>2</sup>.

Работая над книгами, я не думал о том, чтобы, сообщив слову «Уэссекс» новое значение, вернуть его в широкий обиход, однако оно стало повсеместно употребляться как географическое название. Почин принадлежит ныне не издаваемому журналу «Экзаминар»: в его номере от 15 июля 1876 года содержалась статья под заголовком «Уэссекский труженик», посвященная отнюдь не древним англам и саксам, но современному крестьянству юго-западных графств и тому, как его жизнь представлена в моих романах.

С тех самых пор наименование, которое я берег для горизонтов и ландшафтов своей реалистически описанной, но все же вымышленной страны, стало все шире и шире употребляться в повседневности, а она, моя страна, постепенно слилась с действительно существующей областью, куда можно поехать, где можно поселиться, откуда можно посылать очерки в газету. Однако я прошу глубокоуважаемых читателей забыть об этом и более не думать, будто викторианский Уэссекс существует вне страниц этой и других моих книг, для которых он и был мною создан.

Деревушку Уэзербери, где разворачиваются события романа, исследователь едва ли узнает без подсказки в каком-либо из ныне существующих селений, хотя еще сравнительно недавно, в пору моей работы над настоящим повествованием, можно было в действительности увидеть многие пейзажи и лица, весьма напоминающие те, какие я описал. Старая церковь по сей день сохранила, по счастью, свой неизменный вид. Уцелело несколько домов. Увы, солодовня, игравшая столь заметную роль в жизни прихода, не пережила последних двадцати лет, как и большинство коттеджей с мансардами и соломенными кровлями. Нынешнее поколение школьников, насколько я могу судить, совершенно незнакомо с игрою в узников, хотя не так давно казалось, что в нее вечно будут играть на заброшенных скотных дворах. Вслед за старыми домами исчезли и старые обычаи: сегодня почти не гадают с ключом и Библией, не придают серьезного значения открыткам, посылаемым к Валенти-

---

<sup>1</sup> В 1840 году услуги почты Великобритании были существенно удешевлены: плата за пересылку письма весом меньше чем пол-унции (примерно 14 граммов) в любую точку страны составила всего лишь один пенс, вследствие чего ведение почтовой переписки стало доступно широким слоям населения. – *Здесь и далее примеч. пер.*

<sup>2</sup> Герцог Нормандии Вильгельм I Завоеватель вторгся в Англию в 1066 году. Подчинение страны его власти во многом определило дальнейшее формирование английского языка и английской культуры.

нову дню, не устраивают праздников урожая и ужинов по случаю стрижки овец. Говорят, что ослабла любовь крестьян к горячительным напиткам, в прошлом составлявшая печальную славу нашей деревни. Корень этих перемен в том, что на смену прежним крестьянским семьям, которые продолжали местные традиции, десятилетиями арендуя одни и те же коттеджи, пришли работники, переезжающие с места на место. Разрыв преемственности губительно сказался на сохранении народных обычаев, легенд и преданий, соседи зажили разобщенно, меньше стало эксцентрических личностей, ибо неперемное условие существования последних – родная почва, связь с определенной точкой на карте, поддерживаемая из поколения в поколение.

*Т.Г.*

*Февраль 1895*

## Глава I

### Фермер Оук. Случай

Когда фермер Оук улыбался, углы его губ плыли в стороны до тех пор, пока не оказывались в незначительном отдалении от ушей, а глаза делались узкими, и вокруг них возникали морщинки, напоминающие лучи восходящего солнца на рисунке ребенка.

При крещении Оука нарекли Габриэлем. По будним дням он являл собою пример трезвости ума, легкости движений, аккуратной скромности в одежде и, ежели судить в целом, благонаравия. По воскресеньям же, надев стесняющее парадное платье и взяв лучший зонт, Оук становился не слишком расторопным молодым человеком туманных воззрений, принадлежащим к тому обширному лаодикийскому<sup>3</sup> промежутку, что отделял набожных прихожан от пьяниц. Иными словами, церковь он посещал, однако, когда читали Символ веры, начинал потихоньку зевать, а слушая проповедь, думал о предстоящем обеде. Весы людской молвы оценивали Габриэля Оука то так, то иначе: в минуты гнева друзья и судители находили, что он скорее дурен, а в минуты довольства – что скорее хорош. Когда же они бывали в обыкновенном расположении духа, он казался им в нравственном отношении чем-то вроде серой смеси соли и перца.

Поскольку на одно воскресенье приходится шесть дней трудов, мысленному взору соседей фермер Оук всегда рисовался в будничном наряде: в сюртуке на манер доктора Джонсона<sup>4</sup> и фетровой шляпе с низкой тульей, которая раздалась оттого, что в ветреную погоду ее слишком низко нахлобучивали на голову. Ноги, защищенные кожаными гетрами, Оук обыкновенно помещал, как в просторные квартиры, в огромные башмаки (любой, кто бы их ни надел, мог, не промокнув, простоять в реке целый день; видимо, башмачник, совестливый малый, пожелал возместить неуклюжесть фасона прочностью и величиной).

Карманные часы мистера Оука являлись таковыми лишь по назначению и форме, размером же они скорее напоминали часы настольные, хотя и маленькие. Этот серебряный предмет, несколькими годами старше деда своего хозяина, имел обыкновение или стоять, или идти слишком быстро: короткая стрелка порою двигалась, как ей заблагорассудится, и потому, даже зная точное число минут, никогда нельзя было с уверенностью сказать, который час. Остановку механизма Оук исцелял постукиванием и потряхиванием, а чтобы своенравное поведение вещицы не влекло за собою неприятностей, наблюдал за солнцем и звездами, или же, приблизив лицо к оконному стеклу соседского дома, приглядывался к расположению стрелок на зеленом циферблате ходиков, висевших внутри. Собственные часы он, в довершение всего, носил в таком месте, куда нелегко было проникнуть: карман находился у пояса брюк, под жилетом, и, выуживая часы за цепочку, мистер Оук всякий раз склонялся вбок, гримасничал и багровел от усилия, словно тянул из колодца ведро.

Но внимательному взгляду Габриэль Оук порой представлялся с иной точки зрения. Видя, как он шагает через поле солнечным декабрьским утром, можно было заметить, что по достижении им зрелых лет лицо его не утратило красок и черт юности, а подчас в нем сквозило даже мальчишество. Рост и ширина плеч придавали бы мистеру Оуку внушительный вид, если бы он выступал горделиво. Однако и в городах, и в деревне встречаются муж-

---

<sup>3</sup> Лаодикея – город в Малой Азии, в котором была основана одна из ранних христианских церквей, упоминаемая в Евангелии как пример религиозного равнодушия (См. Откровение Иоанна Богослова, 3:14).

<sup>4</sup> Сэмюэл Джонсон (1709–1784) – английский лексикограф, литературный критик и поэт эпохи Просвещения. Созданный им толковый словарь оказал влияние на формирование современного английского языка. На известном портрете работы Джошуа Рейнольдса Джонсон изображен в простом коричневом жюстокоре (кафтани без воротника), надетом поверх жилета, застегнутого до горла.

чины, чья наружность более определяется душою, нежели плотью. Их тела будто становятся меньше от того, как они себя несут. Тихий и скромный, точно монашка, Габриэль Оук словно бы не желал занимать в мире чересчур много места и потому держался просто, при ходьбе едва заметно сгибаясь, хотя и не горбясь. Это, пожалуй, недостаток для того, кто стремится производить впечатление не молоджавостью, а красотой или внушительностью. Но Оук был не таков. Он вошел в пору, когда мужчину перестают называть молодым человеком, – в пору ярчайшего расцвета, когда разум и чувства четко разделены. Их уже не смешивает друг с другом порывистая юность, но они еще не слились в предубеждения, возникающие у того, кто обременен семейством. Словом, Габриэль Оук был холостяком двадцати восьми лет от роду.

Пастбище, по которому он шел тем утром, располагалось на склоне Норкомбского холма. Через холм этот пролегла дорога, соединявшая Эмминистер и Чок-Ньютон. Невзначай бросив взгляд поверх живой изгороди, обозначающей предел его фермы, Оук увидел, что навстречу ему спускается рессорная повозка желтого цвета, украшенная веселым узором. Рядом с парой лошадей идет кучер с кнутом в руке. Телега нагружена домашней утварью и комнатными растениями, а на вершине груди восседает молодая привлекательная особа. Спустя полминуты после того, как Габриэль узрел эту картину, повозка остановилась прямо перед его глазами.

– У повозки задок отвалился, мисс, – сказал возчик.

– Значит, я слышала, как он упал, – ответила девушка мягким, хотя и не тихим голосом. – Мы поднимались на холм, и я услышала шум, но не поняла, что случилось.

– Я вернусь и подберу его.

– Ступайте.

Умные лошади смирно стояли, прислушиваясь к затихающим шагам кучера. Девица неподвижно восседала на горе вещей в окружении перевернутых столов и стульев, опираясь спиною на дубовую скамью. Впереди выстроилась живописная стена из горшков с геранями, миртами и кактусами. Очевидно, все это, наряду с канарейкою в клетке, украшало окна недавно покинутого дома. Кошка, выглядывавшая из приоткрытой плетеной корзины, не сводила любовного взгляда сощуренных глаз с птичек, что порхали вокруг.

Некоторое время миловидная особа ждала, ничего не предпринимая, и тишину нарушал лишь шорох, производимый канарейкой, которая скакала по жердочкам своей тюрмы. Девушка внимательно поглядела вниз – не на кошку и не на птицу, а на завернутый в бумагу продолговатый предмет, лежавший между ними. Обернувшись, путница увидела, что возчик все не идет, и тогда ее взор снова обратился к свертку, а мысли, по всей вероятности, – к тому, что было внутри. Наконец она положила предмет к себе на колени. Под бумагою оказалось крутящееся зеркальце. Изучив свое отражение, девица разомкнула губы и улыбнулась.

Стояло погожее утро. Малиновый жакет путницы горел на солнце алым огнем, а свежее лицо и темные волосы покрылись легким глянцем. Сочная зелень миртов, гераней и кактусов, наставленных у переднего борта, придавала лошадям, повозке, поклаже и самой путешественнице особое очарование весны в безлиственную пору.

Никому неведомо, для чего молодая особа затеяла этот маленький спектакль, не имея иных зрителей, кроме воробьев, дроздов и незамеченного ею фермера. Вероятно, она улыбнулась, испытывая себя в науке очарования, однако, искусственная вначале, ее улыбка мгновенно сделалась настоящей. Девушка залилась румянцем, который стал еще ярче, когда она увидела, как залилось румянцем ее отражение в зеркале.

Обыкновенно этот предмет служит нам в спальне в час одевания, и то, что путнице вздумалось воспользоваться зеркалом под открытым небом, придавало ее праздному движению новизну. Картина была прелестна. Извечная женская суетность неспешной поступью вышла на солнце, чей свет сообщил ей свежесть своеобразия. Как ни склонен был Габриэль

Оук к великодушию, он не мог не сделать цинического умозаключения: девушка погляделась в зеркало безо всякой надобности. Она не поправила шляпки, не пригладила волос; она просто любовалась собою как творением Природы, и в ее мыслях разыгрывались драмы, в которых важная роль отводилась мужчинам. Красавица с улыбкою думала о предстоящих победах, предвкушая, как будет завоевывать сердца. Однако это было лишь догадкой. Движения незнакомки казались столь праздными, что в них едва ли следовало усматривать какое-либо намерение.

Послышались шаги возчика. Девица вновь обернула зеркальце бумагой и убрала его на прежнее место. Когда повозка продолжила путь вниз по склону холма, Габриэль покинул свой наблюдательный пост и пошел следом за нею к заставе, расположенной неподалеку от подножия. Предмет его наблюдения остановился для уплаты пошлины. Шагов с двадцати Оук расслышал спор, разгоревшийся из-за двухпенсовой монеты между седоками повозки и сборщиком платы.

– Племянница хозяйки – вот она, наверху сидит – говорит, что того, что я дал тебе, сквалыга ты несчастный, довольно, и больше ты от нее ни гроша не получишь, – сказал возница.

– Коли так, племянница хозяйки дальше не поедет, – ответил сборщик, закрывая ворота.

Поглядев на спорщиков, Оук задумался. В том, как звучало слово «двухпенсовик», слышалась крайняя незначительность. Три пенса уже казались деньгами: из-за них можно было торговаться, когда речь шла о вознаграждении за дневной труд. Но два пенса...

– Вот, – сказал Габриэль, выходя вперед и протягивая монетку сборщику. – Возьми, и пускай женщина проедет.

После этих слов Оук посмотрел на путницу. Она, услышав его, поглядела вниз.

Между прекрасным ликом святого Иоанна и уродливой физиономией Иуды Искарота на витраже церкви, которую посещал Габриэль, его собственное лицо следовало бы расположить точно посередине. В нем не было ни единой черточки, способной привлечь внимание красотой или безобразием. Темноволосая особа в красном жакете, очевидно, так и подумала, ибо, наградив своего заступника небрежным взглядом и даже не сказав «спасибо», она велела вознице трогаться с места. Вероятно, сей мимолетный взор следовало понимать как замену благодарности, выраженной словесно. Хотя, быть может (и это скорее всего), девица попросту не ощутила ни малейшей признательности. Помощь незнакомца обернулась для нее поражением в споре, а женщины, как мы знаем, за такое не благодарят.

– Видная девица, – протянул сборщик платы, провожая взглядом повозку.

– Но не без недостатков, – откликнулся Габриэль.

– Твоя правда, фермер.

– И главный среди них... тот, всегдашний.

– Привычка сбивать цену? Вот уж верно.

– Нет, другое.

– Что же?

Габриэль, возможно, слегка уязвленный равнодушием путницы, обернулся и поглядел наверх – туда, где ее повозка стояла несколькими минутами ранее, пока он наблюдал за нею из-за своей ограды.

– Тщеславие.

## Глава II

### Ночь. Стадо. Хижина. Другая хижина

Истекал Фомин день<sup>5</sup> – самый темный день года. Близилась полночь. Опустошающий северный ветер блуждал по тому склону, где совсем еще недавно, солнечным утром, Оук наблюдал за девушкой на желтой повозке. Норкомбский холм, возвышавшийся неподалеку от одинокого Колокольного холма, был в числе тех мест, при виде которых странник думает: «Едва ли найдется на земле форма более прочная». Вероятно, именно таким ровным безликим выпуклостям из почвы и извести суждено пережить те потрясения, что однажды сокрушат гранитные скалы куда более значительной высоты.

По северному склону раскинулась редящая роща древних буков, чьи кроны темнели на фоне неба, обрамляя изгиб холма, подобно гриве. В ту ночь эти старые деревья защищали южную сторону от злейших порывов ветра, который, рыча, хлестал стволы и с приглушенным стоном трепал ветви. Сухие листья, кружась, летели по полю, а самые поздние, сумевшие продержаться на ветках до зимы, теперь падали с отчетливым шуршанием.

Между этим полуобнаженным холмом и неподвижным туманным горизонтом, что открывался с его вершины, протянулось таинственное полотно бездонной тени. Звуки, доносившиеся из ее глубины, свидетельствовали о некотором сходстве сокрытого ею ландшафта с ландшафтом холма. Ветры, шевелившие чахлую траву, что кое-как покрывала склоны, казалось, имели не только разную силу, но едва ли не разную природу: одни грубо приминали былинки, другие прочесывали их с пронзительным свистом, третьи гладили, точно мягкая метелка. Первым побуждением всякого человека было остановиться и слушать, как деревья справа и деревья слева попеременно стенают и поют, будто две части соборного хора при исполнении псалма, как изгороди и все другие преграды, встречаемые ветром, подхватывают напев, превращая его в нежнейшие рыдания, и, наконец, как новый порыв, обращенный к югу, стихает навсегда.

Небо было ясным – на удивление ясным, – и все звезды, мигая, словно вторили сердцебиению одного тела. Ветер дул прямо навстречу Полярной звезде, а ковш Большой Медведицы обошел ее так, что стрелка небесных часов<sup>6</sup> показала строго направо. Сейчас ночные светила горели разными цветами, хотя в Англии об этом легче прочесть, нежели узнать из наблюдения. Царственное сверкание Сириуса слепило, подобно стали, Капелла отливала желтым, а Альдебаран и Бетельгейзе – огненно-красным.

Тот, кто ясной ночью оказался один на холме, почти телесно ощущает, как мир движется на восток. Это чувство – яркое и стойкое, что бы его ни вызвало: скольжение звезд над землей, которое замечаешь, постояв неподвижно минуту-другую, или высота, или одиночество. Поэты воспевают движение, и всякий, кто желает насладиться им в масштабе подлинно эпическом, должен взобраться в поздний час на вершину холма и слиться в тишине с величественным шествием звезд, мысленно отделив себя от просвещенного человечества, которое мирно спит, не думая о вселенском порядке. После такого свидания с ночным небосводом трудно бывает возвратиться на землю и поверить в то, что мозг крошечного человека способен постичь смысл величавого движения светил.

Внезапно в небо над Норкомбским холмом устремились звуки, гораздо более чистые, чем шумы, порождаемые ветром. Нигде в природе не услышишь такого мотива. Это запела

---

<sup>5</sup> Католическая и многие протестантские церкви празднуют день апостола Фомы 21 декабря.

<sup>6</sup> Стрелкой звездных часов, по которым определяется время в Северном полушарии, служит линия, соединяющая Полярную звезду с двумя наружными точками ковша Большой Медведицы. В полночь зимнего солнцестояния она показывает 3 основных часа.

флейта фермера Оука. Мелодия лилась не вполне свободно, будто что-то заглушает ее, сдерживает, не позволяет ей лететь ввысь и разноситься вширь. Она доносилась из пастушьей хижины. В столь поздний час ни один непосвященный путник не угадал бы назначения этого маленького темного строения у изгороди. Казалось, на уменьшенном подобии горы Арарат стояло уменьшенное подобие Ноева ковчега, каким его обыкновенно изображают изготовители игрушек и каким он накрепко запечатлевается в воображении людей, ибо первые впечатления сильны. Хижина стояла на колесах, на фут приподнимавших ее над землю. Когда овцам приходит пора ягниться, такие фургоны вывозят на пастбища, дабы пастух во время ночных бдений был защищен от непогоды.

Габриэля Оука совсем недавно стали величать фермером. Лишь год назад неослабевающее усердие и стойкая бодрость духа позволили ему арендовать маленькую овечью ферму, частью которой был Норкомбский холм, и разместить на ней стадо из двухсот голов. До того он управлял чужим имением, а еще раньше ходил в простых пастухах и до самой кончины своего отца, старого Габриэля, помогал последнему заботиться об овцах богатого землевладельца. Новоиспеченный фермер, впервые и безо всякой помощи решившийся примерить на себя роль хозяина, отчетливо осознавал непрочность своего положения, тем паче что и за скот он еще не уплатил. Первой вехой на пути к достатку должно было явиться рождение ягнят. Поэтому зимой Габриэль, с юности знавший толк в овцах, отказался поручить заботу о молодняке неопытному наемному пастуху.

Ветер продолжал обивать углы хижины, но звуки флейты стихли. В стене открылся прямоугольник света, и в нем возникла фигура фермера. Закрыв дверь, Оук принялся хлопотать в ближней части пастбища. Больше четверти часа свет ручного фонаря исчезал в одном месте и появлялся в другом, то превращая своего владельца в черное очертание, то озаряя его, зависимо от того, заслонял ли он сей предмет собою или держал впереди. Движения фермера Оука, исполненные тихой энергии, были, как того требовал род его занятий, медленны и осторожны. Красоту порождает уместность, а с тем, что Габриэлю, когда он уверенно лавировал среди своих овец, была присуща некоторая грация, никто бы не поспорил. В иные минуты Оук мыслил и действовал с быстротою Меркурия, ничуть не уступая городским жителям, от рождения привыкшим к спешке, и все же та особая сила, которою обладали его душа, тело и ум, имела характер скорее статический, нежели импульсивный.

Даже при бледном свете одних лишь звезд можно было, присмотревшись, увидеть, сколь неплохо фермер Оук приспособил склон холма для своих зимних нужд. Между расставленными тут и там плетеными изгородями, а также под их соломенными навесами копошились кроткие создания, чьи шубки белели в ночи. Колокольцы, безмолвствовавшие в отсутствие фермера, теперь вновь стали слышны. Утопая в густой шерсти, они издавали глухой, но сочный звон до тех пор, пока хозяин с новорожденным ягненком на руках не вернулся в хижину.

Тельце маленького создания состояло из четырех ног, вполне длинных даже для взрослой овцы, которые соединяла коротенькая перемычка, пока что почти невесомая. Положив это крошечное средоточие жизни на клочок сена у печурки, согревавшей своим пламенем молоко в жестянке, Оук задул фонарь и пальцами снял нагар. Теперь хижину освещала только свеча, висящая на перекрученной проволоке. Половину жилища занимали брошенные на пол мешки с зерном, служившие хозяину жесткой лежанкой, на которой он теперь и растянулся во весь рост, расслабив шерстяной платок на шее и закрыв глаза. Будь на его месте человек непривычный к тяжелой работе, он бы стал ворочаться с боку на бок, пытаясь устроиться поудобнее, однако фермер Оук тотчас заснул.

Хижина казалась маняще уютной. Пламя свечи и багряный огонек печурки окрашивали в теплые веселые цвета все, чего могли достичь, сообщая внешнюю приятность даже утвари и орудиям труда. В углу стоял пастуший посох, а на полке, протянувшейся вдоль

стены, выстроились банки и склянки с нехитрыми снадобьями для лечения и оперирования животных: с винным спиртом, скипидаром, дегтем, магниезией, имбирем и касторовым маслом. На другой полке, треугольной, фермер хранил хлеб, бекон, сыр и кружку для эля или сидра, а сам напиток наливался из большой бутылки, стоявшей внизу. Возле съестных припасов лежала флейта, помогавшая пастуху скрашивать часы ночного бдения. Воздух поступал в хижину через два круглых отверстия наподобие корабельных иллюминаторов с подвижными деревянными ставнями.

Ягненок, оживленный теплом печки, заблеял, и этот зов мгновенно проник в уши и мозг фермера, как достигают нашего сознания звуки, которых мы ждем. Перейдя от глубокого сна к энергичному бодрствованию с той же легкостью, какая сопутствовала переходу от бодрствования ко сну, Габриэль взглянул на часы и, заметив, что короткая стрелка вновь сместилась, надел шляпу. Взяв новорожденного на руки, он вынес его в темноту и положил подле матери, а затем внимательно поглядел на небо, определяя время по высоте звезд. Сириус и Альдебаран, глядящие на негасимые Плеяды, прошли половину своего пути по южной половине неба. Между ними расположилось великолепное созвездие Ориона: оно воспарило над горизонтом и засверкало ярко, как никогда. Тихо сияющие Кастор и Поллукс почти достигли небесного меридиана. Тусклый квадрат Пегаса полз на северо-запад. Далеко за лесом горела Вега, подобная лампе, повисшей среди безлиственных деревьев, а выше, над кронами, грациозно балансировало кресло Кассиопеи.

«Час пополуночи», – заключил Габриэль. Будучи человеком, сознающим своеобразное очарование собственного образа жизни, он, использовав звезды с практической целью, не вернулся к своим делам сразу же, но постоял еще немного в восхищении, любясь ночным небосводом как образчиком непревзойденной красоты. Очевидно, его поразила красноречивая безлюдность пейзажа, свободного от образов и звуков, порождаемых человеческим присутствием. Самих людей, их трудов, горестей и радостей словно вовсе не существовало. Габриэлю казалось, будто во всем полушарии, объятom тьмою, не осталось ни единого разумного существа. Все ушли туда, где сейчас светило солнце.

Занятый такими мыслями, фермер Оук поглядел вдаль и понял, что свет, принятый им за звезду, горящую низко за лесом, в действительности был зажжен человеческою рукою и горит неподалеку. Многие люди страшатся одинокого ночного пребывания там, где компания столь желанна и ожидаема. Однако порой еще страшнее обнаружить присутствие загадочного соседа, когда внутренний голос, чувства, разум, память, законы аналогии и вероятности, вещественные свидетельства – словом, все говорит о том, что ты совершенно один. Фермер Оук направился к лесу и, раздвигая нижние ветви деревьев, вышел на подветренную сторону холма. Увиденное им темное пятно было, по всей вероятности, хижинкой, утопленной в склон так, что задний край ее крыши почти доходил до земли. Передняя стена представляла собою несколько досок, прибитых к столбам и для сохранности промазанных дегтем. Сквозь щели в крыше и боковинах сочился тот самый свет, который и привлек внимание фермера.

Оук обошел хижину и, склонившись над кровлею с задней стороны, заглянул в отверстие, через которое отчетливо увидел все, что находилось внутри, а именно: двух женщин, двух коров и ведро с дымящимся пойлом из отрубей. Одна из женщин была уже в годах, а другая казалась молодой и грациозной, однако достоверно оценить наружность незнакомки Габриэль не мог, ибо смотрел точно сверху, как мильтонский Сатана на райский сад. Вместо шляпки голову девушки небрежно покрывал капюшон просторного плаща.

– Теперь идем домой, – сказала старшая женщина и, уперев руку в бок, оценивающе оглядела своих подопечных. – Надеюсь, Дейзи оклемается. Животина порядком меня напугала, и ради того, чтоб она поправилась, не жалко ночью встать с постели.

Молодая особа, чьи веки готовы были смежиться в первую же секунду тишины, чуть заметно разомкнула губы в зевке. Габриэль, точно заразившись, тоже тихонько зевнул.

– Если б мы были богаты, – молвила девушка, – мы бы кого-нибудь наняли, кто бы все тут сделал за нас.

– Но мы бедны и должны трудиться сами. Раз осталась, так помогай мне.

– Моя шляпка пропала, – сказала молодая особа, продолжая сетовать на судьбу. – Верно, за изгородь улетела. Ветер дул несильно, а все ж таки ее унес.

Одна из коров, та, что стояла, принадлежала к девонской породе и была облачена в теплую шкуру ярчайшего бордового цвета – такого ровного, без единого пятнышка от глаз до хвоста, словно животное окунули в киноварь. Длинная спина отличалась математической прямизною. Возле второй коровы, бело-серой, Оук лишь теперь заметил однодневного теленка. Судя по тому, с каким идиотическим недоумением теленок взирал на двух женщин, сам феномен зрения еще не вошел у него в привычку. Новорожденное существо часто оборачивалось к фонарю, по видимости принимаемому им за луну в силу врожденного инстинкта, еще не успевшего испытать на себе исправляющее действие опыта. В минувшие сутки Люцина, божественная родовспомогательница, славно потрудилась на Норкомбском холме, заглянув и в овечий загон, и в коровник.

– Зря мы не послали за толокном, – сказала старшая женщина, – отрубей больше нет.

– Да, тетя. Я привезу их, как только рассветет.

– Без дамского седла?

– Я и в мужском могу, не сомневайтесь.

Последние слова усилили желание Габриэля Оука рассмотреть черты девицы, однако капюшон последней и собственное положение над крышею хижины по-прежнему ему мешали, и он поймал себя на том, что восполняет недостающее силой воображения. Даже когда зрение наше ничем не затруднено, мы обыкновенно окрашиваем и лепим всякую вещь, которую видим, сообразно с собственными склонностями. Имей Габриэль возможность прямо поглядеть в лицо девицы, он бы нашел ее прекрасной или же только слегка миловидной зависимо от того, стремится ли его душа обрести предмет поклонения или уже обрела таковой. На протяжении некоторого времени Габриэль явственно ощущал недостаток той, что заполнила бы его пустующее сердце. Да и возвышенное положение его наблюдательного поста давало фантазии немалый простор. Посему фермер Оук вообразил незнакомку красавицей.

Подобно матери, которая, улучив свободное мгновение в череде неустанных трудов, заставляет детей улыбаться, Природа порой забавляет нас причудливыми совпадениями. Девушка откинула капюшон, и ленты черных волос рассыпались по красной ткани жакета. Оук тут же узнал в незнакомке владычицу желтой повозки, миртов и зеркалаца, или, выражаясь совсем уж прозаически, особу, задолжавшую ему два пенса.

Поместив теленка поближе к матери, женщины покинули хижину. Проследив за огоньком их фонаря, который спускался по склону холма, пока не утонул во мгле, Габриэль Оук возвратился к своему стаду.

## Глава III

### Наездница. Разговор

Тускло забрезжил день, чей приход на землю едва ли не всякий раз вызывает к жизни новые чаяния, и фермер Оук, не имея на то иной причины, кроме ночного приключения, снова отправился в лес. Он прогуливался среди буков, погруженный в свои мысли, когда у подножия холма раздался топот лошадиных копыт. Вскоре на тропе, взбегавшей по склону, показался рыжий пони. На спине его сидела вчерашняя молодая особа. Габриэль тотчас вспомнил о шляпке, подхваченной ветром, и подумал, что девица, вероятно, явилась в лес искать пропажу. Торопливо пройдя ярдов десять вдоль канавы, он нашел шляпку среди сухих листьев и, подобрав ее, вернулся к себе в хижину. Укрывшись там, Оук стал в щелку глядеть на тропу.

Девушка поднялась на холм, осмотрелась кругом и заглянула за изгородь. Габриэль хотел было выйти из убежища и возвратить свою находку владелице, но то, что произошло в следующую минуту, заставило его помедлить. Минув коровник, тропа нырнула в лес, делаясь совершенно непригодной для верховой езды, поскольку нижние ветви деревьев чуть ли не скребли по земле, так что прямо сидящий всадник не мог под ними проехать. Девушка, одетая не в амазонку, а в простое платье, быстро оглянулась и, убедившись, что никто из рода человеческого на нее не смотрит, откинулась на спину лошади. Ноги наездницы оказались на плечах животного, голова – над крупом, а глаза обратились к небу. Это движение произведено было с проворством зимородка и беззвучностью ястреба. В противоположность Габриэлю, едва успевшему заметить сей маневр, высокий худощавый пони ничуть не казался удивленным. Все тем же неспешным шагом он провез хозяйку под низко нависавшими ветвями.

Любая часть лошадиного тела от головы до хвоста, по-видимому, представлялась молодой наезднице вполне удобной. Когда лес закончился, и лежать на спине животного стало незачем, девушка приняла другое положение, не столь необычное. Седло ее было мужским, и прочно усевшись на его гладкой коже боком она бы, очевидно, не смогла. Выпрямившись, как выпрямляется молодое деревце, если пригнуть его к земле, а затем отпустить, девица успокоила себя мыслью, что никто ее не видит, и приняла позу, наиболее удобную для езды верхом, однако не принятую среди женщин. Так она направилась в сторону мельницы Тьюнелла.

Увиденное развлекло и, пожалуй, удивило фермера Оука. Повесив женскую шляпку на гвоздь в хижине, он вышел к овцам. По прошествии часа девушка вновь показалась на тропе. Теперь она сидела как полагается, везя мешок с отрубями. У коровника ее встретил мальчик с подойником в руках. Паренек придержал поводья и, когда наездница легко соскользнула вниз, увел пони, а подойник оставил ей.

Из коровника, мерно чередуясь, стали доноситься мягкие и звонкие шумы, издаваемые струйками молока при доении. Габриэль взял шляпу и вышел на тропу, по которой девушка вскоре должна была спуститься с холма. Она и в самом деле появилась, держа в одной руке подойник, свисавший до ее колен, а другую руку для равновесия отставив в сторону. Перчатки на ней не было, и, увидев обнаженную кисть, Оук пожалел о том, что дело происходит не летом, когда короткий рукав открыл бы его взору много больше. От девушки исходило сияние довольства и веселости, словно она не сомневалась, что все кругом должны радоваться ее присутствию на белом свете. Дерзость этого убеждения не оскорбила Оука, ибо он был с ним вообще-то согласен. То, как уверенно незнакомка себя держала, казалось

сродни торжественности в речах гения: человека посредственного она сделала бы смешным, но личность выдающаяся благодаря ей обретает еще большую власть.

Девушка не без некоторого удивления поглядела на фермера, чье лицо встало перед нею, как луна над оградой. Портрет прекрасной девы, сотканный воображением Габриэля, оказался не слишком верным, однако, пожалуй, не затмевал оригинала. Оценивая истинный облик незнакомки, Оук первым делом попытался мысленно ее измерить. Подойник был слишком мал для мерил, да и изгородь слишком низка. Посему девушка, казавшаяся в сравнении с ними высокой, на деле имела, вероятно, тот самый рост, который считается для женщины наилучшим, – не слишком большой и не слишком малый. Все ее черты отличались строгостью и правильностью.

Тот, кто путешествовал из графства в графство, ища женской прелести, знает, что классическая красота лица редко сочетается в англичанках с классической красотой тела. Нос и рот, имей они даже совершенную форму, зачастую бывают для своей обладательницы чересчур крупны. А фигура, блещущая пропорциональным сложением, отнюдь не всегда венчается хорошенькой головкой. Не набрасывая на деву с подойником покрывала нимфы, скажем, что придирчивый взор, не найдя никакого изъяна, мог лишь наслаждаться соразмерностью ее черт. Контурные выше талии сулили наблюдателю прекрасные плечи и шейку, но их никто не видывал с тех самых пор, как дева перестала быть ребенком. Ежели бы на нее надели открытое платье, она бросилась бы бежать и спрятала голову в ближайшем кустарнике. Причина заключалась не в особой стыдливости натуры, а лишь в том, что черта, отделяющая зримое от сокрытого, расположена у сельских женщин выше, чем у горожанок. В ту секунду, когда взгляд девушки встретился с восхищенным взглядом Оука, собственные ее мысли обратились к тому же предмету – своей красоте. Выраженное чуть сильнее, довольство собою есть тщеславие, а чуть слабее – достоинство.

Для юных селянок лучи мужского взгляда подобны щекотке, и девушка поднесла пальцы к лицу так, будто Оук и впрямь коснулся ее нежной кожи. Движения незнакомки тотчас стали менее свободны, и все же краска смущения залила мужские, а не девичьи щеки.

– Я нашел эту шляпку, – сказал Оук.

– Она моя, – ответила девушка и, учтивости ради сдержав смех, лишь слегка улыбнулась. – Ее унесло ветром.

– В час пополудни?

– Да, – подтвердила она с удивлением. – Как вы узнали?

– Я был здесь.

– Так вы фермер Оук?

– Он самый. В этих краях я недавно.

– Велика ли ваша ферма? – спросила девушка и, оглянувшись по сторонам, откинула волосы.

Возле шеи они казались черными, но верхние пряди окрасились цветом солнца, взошедшего час тому назад.

– Нет, не велика. Около сотни.

Говоря о земле, сельские жители обыкновенно опускают слово «акр», подобно тому как олени называют «десятковым», не поясняя, что десять – число отростков на его рогах.

– Нынче шляпка была мне нужна. Я ездила на мельницу.

– Мне это известно.

– Откуда же?

– Я видел вас.

– Где?

Каждый мускул лица и тела незнакомки сковало боязливое ожидание ответа.

– Здесь, в роще, и на склоне холма.

Взор, каким Оук окинул тропу, выдавал его осведомленность о том, чего ему знать не полагалось. Снова поглядев на собеседницу, он тотчас опять захотел отвести глаза, как если бы его поймали на воровстве. Девушка же, припомнив свои недавние акробатические экзерсисы, почувствовала, что лицо ее загорелось, будто от крапивы. И хотя это вовсе не входило у нее в обычай, на сей раз она покраснела. Каждый дюйм прелестной кожи принял цвет лепестков розы: сперва нежной розы «Бедро нимфы», затем всевозможные оттенки розы провансальской и, наконец, алой тосканской. Оук из деликатности отвернулся. Несколько мгновений он смотрел в сторону, думая о том, достаточно ли собеседница овладела собою и скоро ли он сможет опять поглядеть ей в лицо. Наконец раздался шорох, легкий, как трепет засохшего листа на ветру, и Габриэль повернул голову. Девуцы и след простыл. Обретя вид полутрагический-полукомический, Оук возвратился к своим делам.

Миновало пять дней и пять вечеров. Каждое утро молодая особа приходила доить здоровую корову и лечить больную, но ни разу не позволила своему взору остановиться на персоне фермера Оука. Он глубоко ее оскорбил – не тем, что увидел то, чего не увидеть не мог, а тем, что дал ей об этом знать. «Где нет закона, нет и преступления»<sup>7</sup>, а там, куда не смотрят чужие глаза, нет и непристойности. Девушке, по-видимому, казалось, будто, проследив за нею, Габриэль превратил ее в женщину предосудительного поведения. Это досадное обстоятельство дало Оуку обильную пищу для сожалений. Оно же раздуло в его душе то скрытое пламя, что зародилось после первой встречи с темноволосою красавицей.

И все же знакомство, едва начавшееся, вероятно, завершилось бы для Оука медленным забвением, если бы не случай, произошедший на исходе недели. В тот день стало холодать, под вечер мороз усилился, постепенно и словно бы исподволь сковав все кругом. В такую пору дыхание крестьянина, что спит в своем скромном жилище, превращается в иней на простыне, а в доме большом и толстостенном у тех, кто сидит в гостиной перед разожженным огнем, мерзнут спины, даже если лица пылают. Той ночью многие пташки уснули на голых ветвях, не отужинав.

В час доения Оук по привычке следил за тропой, ведущей к коровьей хижине. По прошествии некоторого времени он стал замерзать и, подложив годовалым овечкам побольше соломы, вернулся в свое убежище, чтобы подбросить в печку дров. Из-под двери дуло. Оук прикрыл щель мешком, а свое ложе повернул немного к югу. Однако холодный воздух все равно струился через отдушину. Точнее, отдушин было две, и фермер знал: когда огонь разожжен, а дверь заперта, по меньшей мере одну следует оставлять открытой – ту, которая не обращена к ветру. И все же теперь Оук решил на минутку-другую закрыть оба отверстия, пока хижина немного не нагреется. Фермер сел. Ощувив непривычную боль в голове и отнеся ее за счет того, что прошлыми ночами приходилось мало спать, он хотел встать, открыть одно оконце, а затем дать себе немного отдыха, однако уснул прежде, чем успел исполнить свое намерение.

Габриэль не знал, долго ли он пробыл в беспомощности. Когда сознание стало к нему возвращаться, ему показалось, будто с ним происходят странные вещи: лает собака, чьи-то решительные руки расслабляют на нем шейный платок... Голова болела неистово. Оук открыл глаза и, к удивлению своему, увидел, что в хижине уже сгустилась вечерняя мгла, а в этой мгле он различил прелестные губы и белые зубки молодой особы. Более того, его голова покоилась на ее коленях, лицо и шея были мокры, а женские пальчики расстегивали ему воротник.

– Что со мною? – спросил Габриэль безучастным голосом.

Девушка как будто обрадовалась, хотя и не возликовала.

– Уже ничего, раз вы не умерли. И как вам удалось не задохнуться в этом фургоне?

---

<sup>7</sup> Послание к римлянам апостола Павла, 4:15.

– Ах, фургон... – пробормотал Габриэль. – Я купил его за десять фунтов, а теперь, наверное, продам. Буду сидеть под изгородью, как делали встарь. Спать с овцами на соломе. Уже во второй раз я здесь едва не угорел!

Последнее восклицание фермер сопровождал ударом кулака по полу.

– Виновата не хижина, – произнесла девушка так, словно прежде чем начать говорить, она подумала – немалая редкость для женщины. – Вероятно, вам следовало быть умнее и не закрывать оба оконца враз.

– Вероятно, – ответил Оук рассеянно.

Покуда это мгновение не затерялось во множестве событий, он хотел поймать то чувство, которое испытывал, лежа вот так – головою на платье хорошенькой молодой особы. Он желал бы дать название своему ощущению, однако нашел, что уловить последнее грубыми силками языка не легче, чем сетью поймать аромат.

Девушка помогла Габриэлю сесть, и его лицо понемногу приняло всегдашний бурокрасный оттенок.

– Как мне вас благодарить? – спросил он тоном неподдельной признательности.

– О, не стоит! – ответила девица с улыбкою и с улыбкой же выслушала новый вопрос:

– Как вы меня нашли?

– Я шла из коровника и заметила вашу собаку: она выла и царапала дверь. Хорошо еще, что беда не случилась с вами позже: молоко у нашей Дейзи почти закончилось, и в другой раз я, должно быть, приду сюда уже на той неделе или на следующей. Так вот собака меня увидела, подскочила ко мне и схватила за юбку. Я обошла фургон кругом, чтобы взглянуть, не закрыты ли оконца. У моего дяди хижина наподобие вашей, и я слыхала, как он говорил пастуху, чтобы тот непременно отворял одну отдушину, прежде чем ложиться спать. Когда я вошла внутрь, вы лежали будто мертвый. Воды при мне не было, и я плеснула на вас молока, забыв, что оно теплое. Вы не очнулись.

– Выходит, я должен был умереть? – проговорил Габриэль так тихо, словно адресовал этот вопрос более себе самому, нежели своей собеседнице.

– Ах, нет!

О вероятности столь печального исхода девица предпочла не думать. Признай она, что спасла фермеру жизнь, не удалось бы избежать речей, соответствующих возвышенному духу сего деяния, а таковые были ей не по нраву.

– Вы моя спасительница, мисс... Простите, с вашей тетушкой я знаком, а вашего имени не знаю.

– Полагаю, мне нет нужды его говорить. У вас со мною, верно, не будет больше никаких дел.

– И все же я хотел бы знать, как вы зоветесь.

– Спросите у моей тети, она вам скажет.

– Мое имя Габриэль Оук.

– А мое – нет. Ваше, видно, очень вам по нраву, раз вы произносите его с такою решимостью, Габриэль Оук.

– Мне ничего не остается, ведь другого имени у меня нет и уж не будет.

– Мое всегда казалось мне странным и неблагозвучным.

– Думаю, скоро вы его перемените.

– Боже праведный! Не чересчур ли много вы думаете о других людях, Габриэль Оук?

– Простите, мисс, я полагал, они будут вам приятны. По совести, я не мастер говорить и не сравнюсь с вами в умении взвешивать то, что у меня на языке. Однако я благодарю вас. Дайте же мне вашу руку!

Девушка поколебалась, несколько смущенная тем, с какой старомодной серьезностью Оук вздумал завершить их непринужденную беседу.

– Извольте, – промолвила она и исполнила его просьбу, с выражением деланой безучастности поджав губы.

Оук продержал руку девушки всего мгновение и, побоявшись пожать ее слишком крепко, тронул пальцы едва ощутимо, как делают люди малодушные.

– Простите, – сказал он секунду спустя.

– За что же?

– За то, что выпустил вашу руку так скоро.

– Возьмите ее опять, ежели хотите. Вот она.

На этот раз рука молодой особы пробыла в руке Оука дольше – на удивление долго.

– До чего мягкая у вас кожа! Не загубела и не потрескалась, хотя теперь зима.

– Ну довольно, – сказала девушка, не отнимая руки. – Быть может, вам бы хотелось также ее поцеловать? Я разрешаю.

– Я ни о чем таком не думал, – сказал Габриэль простодушно, – но поцелую.

– Вот уж нет! – девушка отдернула руку, и Оук застыдился оттого, что снова повел себя неучтиво. – Теперь узнайте мое имя, – прибавила она задорно и тотчас удалилась.

## Глава IV

### Габриэль решается. Визит. Ошибка

Сильный пол обыкновенно терпит в женщине лишь такое превосходство, коего она сама не сознает. Однако и превосходство, ею признаваемое, порой привлекает мужчину, если оставляет ему надежду ее покорить. Красивая и благовоспитанная девица за короткий срок в немалой степени овладела думами молодого фермера Оука. Подобно тому, как низменную страсть пробуждает желание плотских наслаждений или материальной выгоды, стремление к обогащению духа дает начало чистой любви, которая, ведя торги на бирже сердец, не уступит в настойчивости самому алчному ростовщику. Каждое утро шансы Оука менялись в его собственных глазах, будто котировки акций на рынке. Он ждал встречи с девицей, как собака ждет кормежки. Габриэль почти не глядел на своего пса, остро ощущая унижительность такого подобия, и все же не переставал ждать, не мелькнет ли за изгородью милый женский образ. Его чувства к девушке крепили, причем безо всякой взаимности. Он не умел изъясняться в пышных фразах, которые кончаются там же, откуда начались. Не умел петь песен, «где много шума и страстей, но смысла нет»<sup>8</sup>. А потому, пока не зная определенно, что желал бы выразить, хранил молчание.

Ему лишь удалось узнать, что девица зовется Батшебой Эвердин и что через семь дней молоко у ее коровы пропадет вовсе. Тот восьмой день, которого Габриэль так страшился, настал, и девушка не поднималась более по склону холма. Чувства фермера Оука пришли в такое состояние, какого он еще недавно не мог себе даже представить. Вместо того чтобы насвистывать, он с наслаждением произносил имя Батшеба. С мальчишества Оук любил видеть у женщин каштановые локоны, однако теперь сделался ценителем черных. Он пребывал в уединении и практически полностью исчез из поля зрения местного общества. Любовь – это зреющая сила, рождающаяся в преходящей слабости. Женитьба превращает то, что мешаешь, в то, что поддерживает, причем по мощи своей поддержка должна быть (и, к счастью, обыкновенно бывает) прямо пропорциональной помехе. Увидав свет на этом пути, Оук сказал себе: «Она будет моей женою, или, душой клянусь, я пропал!»

Не один день ломал он голову, ища предлога, чтобы посетить коттедж тетки своей любезной. Случай представился, когда пала овца, оставившая живого ягненка. Погожим январским утром, имевшим летний лик и зимнюю сущность, когда солнце пролило каплю серебристого света, а небо открыло немного голубизны, лишь чтобы внушить ободренным людям мечты о большем, Оук поместил ягненка в добротную корзинку и зашагал через поля к дому миссис Херст. Пес Джордж увязался следом, всем своим видом показывая, как не по нраву ему, пастуху, такой оборот.

Завидев над трубой синеватый дым, Габриэль впал в странную задумчивость. Вечерами он мысленно прослеживал путь дымовой струи обратно: вниз по трубе к очагу, перед которым сидит Батшеба в своем рабочем наряде. Платье, что было на ней тогда, на холме, стало в глазах Оука неотделимо от ее образа и тоже сделалась предметом нежных чувств. В пору начала его любви оно казалось ему необходимою частью сладчайшей микстуры под названием Батшеба Эвердин.

Сам же Габриэль облачился в продуманный костюм, представлявший собой нечто среднее между аккуратной скромностью и нарядным легкомыслием, между дождливым воскресеньем в церкви и ярмарочным гуляньем. Серебряную цепочку часов Оук тщательно начистил мелом, а в ботинки вдел новые кожаные шнурки, натерев до блеска медные кольца

---

<sup>8</sup> У. Шекспир. Макбет. Акт V, сцена 5. Перевод М.Л. Лозинского.

отверстий. Сверх того он изготовил новую трость из ветви, срубленной в самой гуще леса, и извлек со дна одежного сундука чистый носовой платок. Надев светлый жилет с узором из ростков дивного цветка, сочетавшего прелести лилии и розы, Габриэль извел все масло, какое имел, на свои обыкновенно спутанные и сухие песочные кудри. От такого к ним внимания они обрели новый великолепный цвет (смешение гуано<sup>9</sup> с римским бетоном) и стали липнуть к голове, как шелуха к мускатному ореху или мокрые водоросли к камню после отлива.

Коттедж окутывала тишина, нарушаемая только бранью стайки воробьев под карнизом. (В семействах, что лепят свои гнезда к наружным краям крыш, ссоры и сплетни случаются не реже, чем у живущих внутри домов.) Это, по видимости, надлежало расценивать как недобрый знак, ибо начало визита вышло не самым удачным: приблизившись к садовой калитке, Оук заметил кошку, которая тотчас принялась выгибаться дугой и угрожающе шипеть. Пес, уже достигший того возраста, когда лай без значительного повода считается среди собак пустым расточением сил, счел кошачьи конвульсии недостойными своего внимания. (Надобно сказать, что даже на овец он лаял лишь для порядка и безо всякой злобы, как духовный пастырь посыпает головы грешников пеплом в начале Великого поста – обычай унижительный, однако необходимый для устрашения прихожан ради их же блага.) Вдруг из-за лавровых кустов, в которых скрылась кошка, раздался крик:

– Бедняжка! Этот гадкий злой пес хотел ее убить!

– Прошу простить меня, – отвечивал Оук, – но Джордж шел со мною рядом и был совершенно спокоен.

Едва договорив, Габриэль с тревогой подумал о том, чьих ушей достигнут его слова. Из-за кустов никто не появился. Напротив, шаги удалились. Оук задумался так глубоко, что на лбу его возникли бороздки, прочерченные силою мысли. Когда предстоящая беседа может изменить положение вещей как к добру, так и к худу, любое различие между действительным и ожидаемым порождает тревожное предчувствие неудачи. Габриэль приблизился к двери слегка сконфуженный: визит, так давно им предвкушаемый, имел в его мечтах совсем иное начало.

Дверь отворила тетушка Батшебы.

– Не будете ли вы добры передать мисс Эвердин, что кое-кто желал бы с нею говорить? – спросил мистер Оук, назвавшись кое-кем, вместо того чтоб представиться, отнюдь не вследствие дурного воспитания, а в силу высочайшей скромности, ценимой в деревне, однако вовсе неведомой горожанам с их докладами и визитными карточками.

Батшебы в доме не оказалось. Значит, то был ее голос – там, за кустами лавра.

– Вы войдете, мистер Оук? – пригласила миссис Херст.

– Благодарю вас, – ответил Габриэль, проходя к камину следом за хозяйкой. – Я принес мисс Эвердин ягненка. Подумал, что ей приятно будет его растить. Девушки это обыкновенно любят.

– Может, ей и придется по нраву ваш подарок, – произнесла миссис Херст раздумчиво, – однако она и сама здесь гостья. Ежели подождете минутку, она придет.

– Я подожду, – сказал Оук, садясь. – По правде говоря, миссис Херст, я не только из-за ягненка пришел. Я хотел бы спросить, согласится ли она стать моею женой.

– В самом деле?

– Да. Потому как если она согласна, я женюсь на ней с превеликой радостью. Не подскажете ли вы, есть ли подле нее другие молодые люди с подобными намерениями?

– Дайте-ка подумать, – ответила миссис Херст, рассеянно вороша угли в камине. – Оно, конечно, молодых людей хоть отбавляй. Видите ли, фермер Оук, Батшеба девушка видная,

<sup>9</sup> Гуано – коричневатое удобрение из разложившегося помета морских птиц.

к тому же ученая. Хотела даже гувернанткою стать, да только нрав у нее для этого чересчур необузданный. Не то чтобы мужчины ее здесь посещали, но, Боже мой, по своей природе она должна иметь целую дюжину женихов.

– Жаль, – вымолвил Оук, горестно созерцая трещину в каменном полу. – Я человек простой и мог надеяться на успех, только если б оказался первым... А поскольку пришел я лишь за этим, то и ждать мне, выходит, нечего. Пойду-ка я домой, миссис Херст.

Прошагав ярдов двести по равнине, Габриэль услышал у себя за спиной пронзительное «хой-хой!», причем этот возглас прозвучал выше, чем обыкновенно звучит в устах пастухов. Обернувшись, Оук увидел девушку, которая бежала за ним, размахивая белым платочком. Габриэль покраснел. Ее же щеки пылали румянцем, однако, по всей видимости, не от смущения, а от бега.

– Фермер Оук... я... – заговорила Батшеба и осеклась, переводя дух.

Теперь она стояла прямо перед Габриэлем, чуть отвернувшись и держась рукою за бок.

– Я заходил вас повидать.

– Знаю. – Батшеба дышала часто, как птенчик малиновки, с раскрытым клювом ждущий червячка, лицо ее покраснелось и было мокро, точно цветок пиона, на котором солнце еще не высушило росу. – Если б я предполагала, что вы пришли просить моей руки, я бы тотчас вернулась из сада. А тетя неверно вам сказала...

У Габриэля гора свалилась с плеч.

– Досадно, что вам пришлось бежать так быстро, любезная мисс Эвердин, – произнес он, с благодарностью предвкушая следующие ее слова. – Погодите немного, отдышитесь.

– Тетя неверно сказала вам, будто у меня есть жених. Нет у меня никого и не было никогда. Я так рассудила: время идет, и это большая ошибка – отослать вас, чтобы вы думали, будто у меня много поклонников.

– До чего я рад это слышать!

На лице фермера Оука, зардевшемся от удовольствия, возникла отличавшая его продолжительная улыбка. Он протянул руку к руке Батшебы, которую она, отпустив бок, теперь прижимала к груди, дабы успокоить громко бившееся сердце. Едва Габриэль ею завладел, она спрятала ее за спину, – проворные пальчики, точно угорь, выскользнули из его ладони.

– У меня уютная маленькая ферма, – произнес Габриэль вполголоса не так уверенно, как говорил до попытки взять руку Батшебы.

– Охотно верю.

– Мне ссудили денег для начала, но скоро все будет выплачено. Человек я обыкновенный, однако с детства работал и сумел добиться кое-чего. – «Кое-что» фермер произнес так, словно подразумевал «многое». – Когда мы поженимся, я наверняка смогу работать вдвое больше нынешнего.

Оук сделал несколько шагов вперед и снова протянул руку Батшебе. Она поравнялась с ним возле низкого куста остролиста, усыпанного красными ягодами. Увидав, что Габриэль наступает, грозя заключить ее персону в объятия и, пожалуй, даже стиснуть в оных, девица обошла заросли и с противоположной их стороны, глядя поверх ветвей округленными глазами, промолвила:

– Но фермер Оук! Я ведь не говорила, что выйду за вас!

– Вот так так! Стало быть, вы бежали за мною во весь опор, чтобы сказать, что за меня не выйдете? – проговорил Габриэль в полной растерянности.

– Я лишь хотела вам сообщить, – ответила Батшеба с жаром, хотя в глубине души осознавала нелепость того положения, в которое себя поставила, – что нет никакой дюжины женихов, и никто не называет меня своею милой. Я не желаю, чтобы мужчины думали обо мне как о собственности, хотя, быть может, однажды ею стану. Если б я хотела за вас замуж,

я б за вами так не побежала – я ведь имею гордость. Но нет никакого вреда в том, что я поспешила опровергнуть неправдивые слова, сказанные тетей.

– О да, вреда в самом деле нет, – ответил Оук. Но иногда тот, кто высказывается от сердца, рискует проявить чрезмерное великодушие. Посему, взвесив обстоятельства, Габриэль прибавил: – Хотя я в этом не уверен.

– По совести говоря, я не успела подумать, хочу ли за вас выйти, прежде чем побежала. Вы ведь уже далеко ушли.

Оук вновь приободрился.

– Так извольте, мисс Эвердин. Подумайте минуту или две. Я подожду. Вы будете моей женою? Соглашайтесь, Батшеба. Моя любовь к вам очень велика!

– Что ж, попробую, – произнесла она довольно робко. – Но если я думаю на открытом воздухе, мои мысли разлетаются.

– И все же попытайтесь.

– Дайте мне время.

Батшеба отвортила лицо от Габриэля и устремила взор вдаль.

– Я сделаю вас счастливой, – сказал Оук, глядя поверх куста на ее затылок. – Через год или два мы сможем купить фортепьяно – нынче у многих фермерских жен оно имеется. А я подучусь на флейте, чтобы играть с вами по вечерам.

– Да, было бы славно.

– А еще мы купим маленькую хорошенькую двуколку за десять фунтов для поездок на рынок, насадим цветов, заведем птиц: курочек и петухов – от них ведь в хозяйстве большая польза, – продолжал Габриэль, балансируя между поэзией и практицизмом.

– И это мне по нраву!

– А еще у нас будет парник для огурцов, как бывает у леди и джентльменов.

– Да!

– А когда мы поженимся, об этом напишут в газете!

– О, как чудесно!

– А потом о рождении наших детишек! А дома, у камина, лишь только вы подымете взгляд от огня – я тут как тут перед вами, а я подыму взгляд – передо мною вы.

– Довольно! Не говорите непристойностей!

Лицо Батшебы помрачнело, и несколько мгновений она молчала. Габриэль все смотрел на красные ягоды, разделявшие их, и в дальнейшем остролист прочно связался в его сознании с предложением руки и сердца. Наконец девушка повернулась к нему и решительно произнесла:

– Нет! Ничего путного из этого не выйдет. Я не хочу за вас замуж.

– Попробуйте представить...

– Я пыталась все время, пока думала. В замужестве есть своя прелесть: люди заговорят обо мне, и я буду торжествовать, словно настал мой триумф. Но муж...

– Что ж плохого в муже?

– Ах, он всегда будет рядом, как вы давеча сказали. Куда я ни погляжу – всюду будет он.

– Непременно будет. То есть я буду.

– В том-то и дело. Я не прочь быть невестой на свадьбе, только лучше, если свадьба без мужа. Коли женщина не может покрасоваться перед людьми одна, то я не выйду замуж. По крайней мере, теперь не выйду.

– Что за глупости вы говорите! – Столь суровая оценка ее слов побудила Батшебу с гордым видом отпрянуть назад. – Клянусь душою и сердцем, – продолжал Габриэль, – ни от одной другой девицы не услышать менее вздорных речей! Дражайшая моя, – прибавил он, смягчившись, – будьте же умнее! – Фермер издал вздох неподдельного огорчения – столь

глубокий и шумный, будто вздохнул сосновый лес. – Чем я вам не нравлюсь? – спросил он, тихонько обходя куст, чтобы стать с Батшебою рядом.

– Я не могу за вас выйти, – отвечала она, отступая.

– Но отчего?

Утратив надежду приблизиться к ней, Оук стал неподвижно и, как раньше, устремил на нее взгляд поверх куста.

– Я не люблю вас.

– Да, но...

Батшеба зевнула почти совсем незаметно, так что это отнюдь не было неучтивостью, и вновь произнесла:

– Я вас не люблю.

– Зато я люблю вас и со своей стороны был бы доволен, если б просто нравился вам.

– О, мистер Оук, как великодушно! Но скоро вы станете меня презирать.

– Никогда! – воскликнул Оук с таким чувством, что одной лишь силою своих слов, казалось, преодолел кустарник, отделявший его от Батшебы, и устремился в ее объятия. – Лишь одно в этом мире я знаю наверняка: всю свою жизнь я буду любить вас! До самой моей смерти вы будете для меня желанной!

Речь фермера Оука была исполнена торжественной одухотворенности, а его большие руки, темные от работы, заметно дрожали.

– Быть может, это ужасно неверно – не выйти за вас, когда ваши чувства ко мне так сильны! – сказала Батшеба не без некоторого сожаления и принялась озираться, отчаянно ища решения моральной дилеммы. – Ах, зачем только я бросилась за вами бежать! – Впрочем, скоро она отыскала путь к веселости и лукаво прибавила: – У нас с вами ничего не сладится, мистер Оук! Кто-то должен меня укротить, ведь я слишком независима, а у вас, я знаю, это не выйдет.

Оук опустил глаза, словно показывая, что не видит смысла в продолжении спора. Тогда Батшеба вновь заговорила разумно и ясно:

– Мистер Оук, вы состоятельней меня. У меня за душой ни гроша, я помогаю тетке по хозяйству, чтоб отработать свой хлеб. Притом образована я лучше и нисколечко вас не люблю. Вот как выглядит дело с моей стороны. Теперь поглядим с вашей. Вы сделали фермером совсем недавно. Жениться вам если и следует, то, конечно, не сейчас, а позднее. Здравый смысл велит вам подыскать жену со средствами, которые позволят расширить ферму.

Габриэль взглянул на Батшебу с малой долей удивления и большой долей восхищения.

– Я и сам об этом думал, – наивно признался он.

Добиться успеха с Батшебою ему мешали полторы христианские добродетели: смирение (это одна добродетель) и честность, которую следовало бы убавить ровно вполовину, ибо теперь она привела девушку в полнейшее замешательство.

– Тогда чего же вам вздумалось меня понапрасну тревожить? – спросила она, если не злясь, то вполне себе раздражаясь: красные пятнышки, вспыхнувшие на ее щеках, становились все больше.

– Я не могу сделать то, что было бы...

– Верно?

– Нет, мудро.

– Вот, мистер Оук, вы и признались! – воскликнула Батшеба и презрительно потрянула головою. – Неужто вы полагали, будто после такого я выйду за вас замуж? Ни за что!

– Не понимайте моих слов так дурно! – с горячностью ответил Габриэль. – Я лишь открыто высказываю то, о чем другой на моем месте подумал бы про себя, а вам кровь ударяет в голову, и вы сердитесь. Что вы для меня чем-то нехороши – чепуха. Вы говорите как благородная – весь приход заметил. А у вашего дяди, я слышал, в Уэзербери большая ферма

– такая, какой у меня вовек не будет. Позвольте мне зайти к вам вечером, или, быть может, вы согласитесь прогуливаться со мною по воскресеньям? Я не прошу вас решить немедленно, ежели вы того не хотите.

– Нет. Нет. Я не могу. Не настаивайте, не нужно. Я вас не люблю, а потому это было бы нелепо, – сказала она с усмешкой.

Ни один мужчина не пожелает, чтобы женское кокетство вертело его чувства на своей карусели.

– Что ж, хорошо, – ответил Оук твердым тоном человека, решившего отныне проводить дни и ночи в умудряющем чтении Екклесиаста. – Впредь я вас не потревожу.

## Глава V

### Разлука с Батшебою. Пастушья трагедия

Известие о том, что Батшеба Эвердин покинула их края, произвело на мистера Оука такое действие, которое многим показалось бы странным, однако не удивило бы того, кто знает: чем громче и решительней отказ, тем он менее действителен. Пути, ведущие к любви, ведомы людям, но пути, из нее выводящие, неисповедимы. Порою лучшим лекарством от нежной страсти находят женитьбу, хотя не всем это средство помогает. Габриэлю Оуку судьба дала иное снадобье – разлуку. Излечивая одних, оно побуждает других возводить предмет на трон идеала. Сие побочное действие проявляет себя в особенности у тех, чья любовь, спокойная и постоянная, подобна долгой глубокой реке. Фермер Оук принадлежал к тихой половине человечества, и та часть его души, что тайно приросла к Батшебе, теперь горела еще более жарким пламенем, чем до отъезда девицы.

Неудачное сватовство положило конец начавшейся дружбе Габриэля с тетею мисс Эвердин, и теперь он вынужден был расспрашивать о ней посторонних лиц. Соседи говорили, будто Батшеба отправилась в деревню Уэзербери, что в двадцати милях от их прихода, однако поехала ли она туда погостить или вознамерилась поселиться там надолго, Оук узнать не смог.

На его ферме было две собаки. Старший пес, Джордж, имел черный, как смоль, нос, окруженный узким розовым ободком, и шерсть в хаотически расположенных пятнах от белого до голубовато-серого цвета. Правда, многолетнее воздействие солнца и дождя выжгло и вымыло голубизну, заместив ее рыжевато-коричневым оттенком, отчего шуба Джорджа стала немного напоминать полотна Тернера, на которых выцвел индиго. От долгого пребывания среди овец растительность на песьем теле сделалась похожей на овечьё руно низкого сорта. В юности Джордж служил пастуху, известному своей низкой моралью и крутым нравом, а потому не хуже самого злоязычного деревенского старика знал все до единой степени угрозы, выражаемые разнообразнейшими бранными словами. Опыт научил его столь четко различать «Ко мне!» и «Ко мне, черт тебя дери!» – что пес с точностью до овечьего волоска определял, как быстро следует бежать на тот и на другой зов, дабы избежать удара посохом. Теперь Джордж был уже немолод, но по-прежнему остр умом и надежен.

Другой пес, его сын, уродился, по всей вероятности, в мать, ибо на отца не походил нисколько. Юнца обучали пастушескому ремеслу, чтобы заменить им родителя, когда тот умрет, однако пока он постиг лишь самые азы и находил непреодолимую трудность в определении той меры усердия, которая удовлетворит хозяина как достаточная, но не излишняя. Этот молодой пес, не имевший имени и охотно откликавшийся на любое приветливое восклицанье, служил ревностно, хотя умом не блистал. Если его отправляли слегка подбодрить овец, он гнал их с превеликим наслаждением едва ли не в другой конец графства, пока не заслышит хозяйский зов или не будет остановлен старым Джорджем.

Но довольно пока о собаках. На другой стороне Норкомбского холма была меловая яма, из которой черпало известь не одно поколение окрестных фермеров. С двух сторон от нее стояла изгородь в виде буквы «V», слегка разомкнутой. Нижние концы, нависавшие над самым краем ямы, соединяла кое-как сработанная перекладка.

Однажды вечером Оук вернулся в свой дом, решив, что ночное бдение на холме более не нужно. Он окликнул собак, чтоб запереть их в сарае до утра. На зов явился только Джордж. Второго пса нигде не было: ни в доме, ни на улице, ни в саду. Оук припомнил, что, уходя с пастбища, оставил собак за поглощением мяса мертвого ягненка (такую пищу

он давал им, лишь если другая кончалась). Решив, что молодой пес еще ест, Габриэль лег в постель – роскошь, какую он в последние месяцы позволял себе только по воскресеньям.

Ночь выдалась тихая и влажная. Перед самым рассветом фермера разбудила знакомая музыка, звучавшая весьма громко. Пастух замечает звон овечьего колокольчика так же, как все мы замечаем тиканье часов, то есть лишь тогда, когда привычный звук прекращается или же меняет свои свойства. Не привлекая к себе особого внимания, ленивое позвякивание сообщает фермеру, как бы далеко тот ни находился, что в загоне все спокойно. В торжественной тишине занимавшейся зари Габриэль уловил странный частый звон. Такой звук мог быть вызван одной из двух причин: либо животные, на чьих шеях висят колокольцы, вышли на новое пастбище и щиплют траву с особой жадностью, либо они бросились бежать (в последнем случае звон более ровен). Опытное ухо фермера Оука тотчас определило, что стадо мчится со всех ног.

Габриэль вскочил с постели, оделся, пронесся по окутанной утренним туманом деревенской улице и взобрался на холм. Оягнвшихся животных он держал отдельно от тех, которым предстояло ягниться позже. Последних – в его стаде их насчитывалось двести голов – словно ветром сдуло. Пятьдесят овец с ягнятами были в своем загоне, как накануне вечером, но большей части отары даже след простыл. Оук во весь голос прокричал пастушеское «Овей! Овей! Овей!» – и никто не заблеял в ответ. Подойдя к ограде, Габриэль увидел в ней брешь, а рядом – следы копыт. То, что овцам вздумалось выбраться на волю в зимнюю пору, удивило фермера, однако он приписал эту странность их любви к плющу, который в избытке рос среди буков.

В лесу животных не оказалось. Оук вновь стал их звать, и зов его разнесся по окрестным холмам и долинам, подобно воплям Геракла, что разыскивал юного оруженосца Гиласа, канувшего в пучине у берегов Мизии. Овцы не приходили. Тогда Габриэль вышел из леса на гребень холма и на самой вершине увидел темный силуэт своего молодого пса. Подобно Наполеону на острове Святой Елены, тот стоял неподвижно над тем местом, где сближались две изгороди, поставленные над известковой ямой.

Фермера поразила жуткая догадка. Ощувив внезапную слабость во всем теле, он двинулся вперед и увидел возле сломанной перекладки следы своих овечек. Пес подбежал, лизнул руку хозяина и завил хвостом, явно ожидая благодарности за караульную службу. Габриэль поглядел в яму: на дне лежали умирающие или уже умершие животные – двести изуродованных тел, в каждом из которых таилось по меньшей мере еще одно тело.

Оук был человеком добросердечным – в такой степени, что это часто мешало осуществлению его стратегических замыслов. Всю свою жизнь он страшился того дня, когда каждый пастух предаст своих беззащитных овец, превращая их в баранину.

Первым делом Габриэля, стоящего над ямой, поразила жалость к безвременно погибшим нежным созданиям и их нерожденному потомству. Только после он вспомнил о другом: овцы не были застрахованы. Все, что удалось сберечь за годы аскетической жизни, пошло прахом. Мечты о собственной ферме погибли – быть может, навсегда. С восемнадцати до двадцати восьми лет Оук терпеливо трудился, не щадя сил, чтобы теперь остаться ни с чем. Он склонился над оградой и закрыл лицо руками.

Оцепенение, однако, не может продолжаться вечно. Примечательно и вместе с тем для Габриэля вполне свойственно, что первые слова, какие он произнес, овладев собою, были словами благодарности: «Слава Господу, не давшему мне жены! Как бы она вынесла бедность, которая ждет меня теперь?!»

Подняв голову, Оук устремил вперед бесстрастный взор, размышляя, можно ли еще хоть что-то сделать. За ямой виднелся овал пруда, а над ним висел истонченный хромово-желтый серп луны. Слева ее охраняла утренняя звезда. Пруд блестел, как глаз мертвеца. Пробудившийся ветер растягивал и сотрясал, не разрывая, отражение месяца, а свет

звезды растянулся по водной глади фосфорической полосой. Все это Габриэль заметил и запомнил.

Насколько теперь можно было судить, беда случилась так: бедный молодой пес, до сих пор полагавший, что чем дальше он загонит овец, тем лучше, отужинал мертвым ягненком и, исполненный новых сил, заставил своих боязливых подопечных перемахнуть через ограду. Взбежав по склону холма, испуганное стадо сломало подгнившее ограждение ямы и оказалось на дне.

Сын Джорджа, исполнивший свой долг с таким исключительным рвением, оказался слишком хорошим работником, чтобы жить на этом свете. Его забрали и в полдень того же дня пристрелили – пример несчастливой судьбы, часто постигающей собак и философов, которые имеют склонность приводить цепь рассуждений к логическому завершению, стремясь достичь совершенства в мире, где столь важную роль играют компромиссы.

Практически все, имевшееся на ферме Оука, ему предоставил один торговец, который должен был получать долю от дохода, пока ссуда не будет погашена. Те животные и орудия, что принадлежали самому Габриэлю, стоили, как оказалось, примерно столько, чтобы их продажа покрыла долги, оставив неудачливого фермера свободным человеком, владеющим надетым на него платьем и более ничем.

## Глава VI

### Ярмарка. Путешествие. Пожар

Минуло два года. Перенесемся в Кестербридж, главный город графства, где в тот февральский день проходила ежегодная ярмарка наемных работников. Две или три сотни бодрых и крепких трудяг стояли на площади в ожидании Удачи. Все они принадлежали к тому сорту людей, для которых работа есть не что иное, как борьба с земным притяжением, а любой перерыв в работе есть удовольствие. Возчики выделяли себя в этой толпе тем, что обматывали вокруг шапок кусок кнута, костюм кровельщиков дополнялся сплетенным пучком соломы, пастухи держали в руках посохи. Так наниматель с одного взгляда понимал, кто какого места ищет.

Среди желающих наняться на службу был атлетически сложенный молодой человек, который казался выше других по положению. Кое-кто из краснолицых крестьян даже подходил к нему как к фермеру и предлагал свои услуги, в конце прибавляя «сэр». Но он отвечал: «Я сам хочу наняться. Управляющим. Не знаешь ли, у кого найдется для меня место?»

Габриэль сделался бледен и печален. Глаза глядели раздумчиво. Он прошел через тяжкие испытания, которые многое отняли у него, однако дали ему еще больше. Со скромного трона сельского царя фермер Оук был низвергнут в смоляные ямы Сиддима<sup>10</sup>, где приобрел доселе неведомое ему величавое спокойствие и ту безучастность к собственной судьбе, которая если не делает человека негодяем, то возвышает его. Падение обернулось восхождением, а потеря – приобретением.

Тем утром из Кестербриджа уходил стоявший там кавалерийский полк, и сержант со своими людьми разъезжал по четырем улицам, составлявшим город, вербуя рекрутов. Под конец дня Оук, которого так никто и не нанял, почти пожалел о том, что не пошел служить отчизне. Раз места управляющего для него не нашлось, а ждать уж не было сил, он надумал взяться за другую работу.

Всем фермерам требовались пастухи, Габриэль же знал толк в овцах. Зайдя в темную улицу и свернув в еще более темный переулочек, он вошел в лавку кузнеца.

- Много ли времени тебе нужно, чтоб изготовить крюк для пастушьего посоха?
- Третью часа.
- Сколько возьмешь?
- Два шиллинга.

Оук сел на скамью, а кузнец выковал крюк и приладил древко, не взяв за него отдельной платы. Из кузнечной лавки Габриэль направился в лавку готового платья, где имелась разнообразная одежда для сельских жителей. Поскольку большая часть его денег ушла на посох, он выменял свое пальто на кафтан заправского пастуха, а по совершении сей сделки торопливо вернулся на центральную площадь и встал, как овчар, с посохом в руках. Однако теперь как будто больше требовались управляющие. И все же раза два или три к Габриэлю подходили. Между ним и фермером происходил разговор такого содержания:

- Ты откуда?
- Из Норкомба.
- Не ближний свет.
- Пятнадцать миль отсюда.
- На чьей ферме служил прежде?
- На своей.

---

<sup>10</sup> См. Бытие, 14:10.

Такой ответ неизменно действовал как известие об эпидемии холеры: фермер отходил прочь, качая головой. Далее дело не продвигалось: Габриэль, как и его пес, оказался слишком хорош, чтобы ему доверять. Воспользоваться случаем, который предлагает себя сам, и привести обстоятельства в соответствие с этим случаем верней, чем собственным умом измыслить хороший план. Оук пожалел о своем решении стать под пастушеские знамена. Лучше бы он говорил, что готов взяться за любую работу.

Сгустились сумерки. Какие-то весельчаки принялись насвистывать и распевать песни возле хлебной биржи. Рука Габриэля, долгое время лежавшая без дела в кармане пастушьего кафтана, взяла флейту. Проявляя мудрость, купленную дорогой ценой, Оук заиграл «Плута на ярмарке» так, будто никогда не ведал горя. Габриэль владел сим пасторальным инструментом, подобно жителю идиллической Аркадии, и сейчас, издавая звуки всем знакомой песни, он веселил и свое сердце, и сердца гуляк. За полчаса вдохновенной игры ему удалось изрядно подзаработать: для того, кто всего лишился, горстка однопенсовиков – хоть и небольшое, но состояние. Порасспросив людей, Оук узнал, что завтра будет ярмарка в Шоттсфорде.

– Далеко ли Шоттсфорд?

– Милях в десяти от Уэзербери.

Уэзербери! Место, куда отправилась Батшеба!.. Для Габриэля полночь внезапно сменилась полуднем.

– А до Уэзербери сколько будет?

– Миль пять или шесть.

Вероятно, Батшеба давно уж покинула Уэзербери, и все же это селение представляло для Оука достаточный интерес, чтобы попытаться счастья именно в тех краях. К тому же тамошние жители были сами по себе интересны. Из рассказов следовало, что уэзерберийцы смелы, веселы, хитры и процветают, как никто другой во всем графстве.

Решив переночевать в Уэзербери на пути в Шоттсфорд, Габриэль тотчас зашагал туда по указанной ему кратчайшей дороге. Она тянулась через заливные луга, пересекаемые трепещущими ручейками: струи воды сплетались в косы посередине русла, а у берегов образовывали оборки. Там, где течение было быстрее, сбивались белые облачка пены, и ручей безмятежно уносил их дальше. Сухие скелетики листьев в беспорядке кружились на плечах ветра и падали на землю. Птички на изгородях чистили перышки, уютно устраиваясь на ночлег. Стоило Габриэлю приостановиться, чтобы на них поглядеть, они тотчас вспархивали.

В Йелберийском лесу дичь рассаживалась по гнездам. Оук то и дело слышал скрипучий отрывистый крик фазана или хрипловатый посвист его подруги. Ко времени, когда три или четыре мили остались позади, очертания предметов слились во всепоглощающей тьме. Спустившись с Йелберийского холма, Оук с трудом различил фургон, стоящий под могучим развесистым деревом у дороги.

Габриэль подошел и увидел, что лошадей нет. Поблизости, очевидно, не было ни души: хозяин покинул фургон на ночь, оставив внутри лишь пучок сена. Оук присел на оглоблю и задумался о своем положении. По его подсчету выходило, что значительная часть пути уже пройдена. Поскольку с восхода солнца Габриэль был на ногах, крытая повозка и пук соломы весьма его манили, и он подумал, не лечь ли прямо здесь, чтобы не платить за постой в Уэзербери.

Доев остатки хлеба с ветчиной и запив их сидром, благоразумно припасенным в дорогу, Оук, насколько мог видеть в темноте, разделил сено на две половины: одну разложил на досках, а другою укрылся с головой, как одеялом. Тело его никогда не ощущало большего удобства, однако, значительно превосходя других людей своего рода занятий в склонности к размышлению и созерцанию, он не мог вполне заглушить внутреннюю печаль. Теперешняя страница жизни Габриэля Оука была не из счастливых, и, думая о своих горестях, влюблен-

ный муж в пастушеском облачении уснул, ведь пастухи, подобно мореплавателям, обладают завидной способностью вызывать Морфея.

Внезапно очнувшись от сна, продолжительность коего была ему неизвестна, Оук почувствовал, что телега движется, причем с внушительной для безрессорной повозки быстротой. Голова его билась о дощатое дно, словно палочка барабанщика о литавры. На передке фургона сидели люди, чей разговор долетал до Габриэля. Будь он человеком преуспевающим, он, возможно, встревожился бы не на шутку, но горести, подобно опию, усыпляют страх. Оук осторожно выглянул наружу и первое, что он увидел, были звезды. Ковш Большой Медведицы указал ему время – около девяти. Значит, спал он часа два. Произведя сие астрономическое исчисление мгновенно и безо всякого усилия, Габриэль тихонько повернулся, дабы увидеть, если удастся, в чьи руки он попал.

Впереди сидели, свесив ноги, двое. Один из них, очевидно возчик, правил. По всей вероятности, они ехали с Кестербриджской ярмарки, как и Оук.

– Что ни говори, а собой она хороша. Впрочем, эти холеные кобылки бывают горды, как черти.

– Твоя правда, Билли Смоллбери, твоя правда.

Последние слова произнес голос, изначальную нетвердость коего усугубила тряска. Принадлежал он тому, кто держал поводья.

– Девица много о себе мнит – всюду люди говорят.

– Вот оно что! Ежели так, я на нее и взглянуть не посмею. Ей-же-ей! Я человек скромный.

– Ага. А она гордячка: спать не ляжет, чтобы в зеркало не посмотреться – хорошо ли чепец надела.

– И в девках!..

– На фортепьяне, говорят, играет. Да так славно, что любой псалом выходит не хуже, чем самая развеселая песня, – ну прямо заслушаешься.

– Неужто? Вот так счастье нам привалило! А хорошо ль она платит?

– Чего не знаю, мастер Пурграсс, того не знаю.

Эти и им подобные замечания внушили Оуку волнующую мысль: что, если разговор шел о Батшебе? Однако догадка могла оказаться ошибочно: фургон двигался в сторону Уэзербери, но, вероятно, не именно туда, и женщина, о которой говорили, была, скорей всего, хозяйкой какого-то имения. До деревни, по видимости, оставалось совсем недалеко, и Габриэль, чтобы понапрасну не тревожить беседующих, незаметно спрыгнул с телеги.

Изгородь, подле которой он оказался, в одном месте расступалась. Подойдя ближе, Габриэль увидел ворота, привалившись к ним сел и стал размышлять, подыскать ли ему дешевый ночлег в деревне или воспользоваться ночлегом еще более дешевым – в стоге сена. Скрип повозки стих вдали. Оук уже хотел было двинуться дальше, как вдруг заметил по левую руку необычный свет, горевший примерно в миле от него. Габриэль пригляделся: то был пожар.

Оук взобрался на ворота и, спрыгнув на другую сторону (под ногами оказалась распханная земля), поспешил через поле туда, где горел огонь. Пламя разрасталось – не только оттого, что Оук приближался, но и само по себе. Вскоре он увидел ярко озаренные стога. Горела рига. Усталое лицо Габриэля теперь было залито сочным оранжевым светом, на пастушьем кафтане и гетрах плясали причудливые тени колючих ветвей, а крюк посоха распространял вокруг себя серебристые лучи. Приблизившись к оградке, Оук остановился перевести дух. Ни одной живой души на риге как будто не было. Огонь успел почти целиком поглотить длинную скирду, которую уж никто не смог бы спасти.

Рига горит не так, как дом. Если ветер раздувает пламя, бушующее внутри, то все, что охвачено пожаром, исчезает, словно тающий сахар. Даже очертаний не остается. Но если

возгорание началось снаружи, плотно увязанные снопы сена или пшеницы могут некоторое время противостоять огню. Габриэль глядел на вязанки соломы, просто наваленные друг поверх друга. Пламя молниеносно стремилось в сердцевину этой горы. Наветренная сторона то тлела, то вспыхивала, как сигарный пепел. Когда наружная вязанка со свистом скатывалась, пламя прокладывало себе извилистый путь вглубь, издавая звук, скорее напоминающий рев, чем потрескивание. Дым стелился над землей подобно гряде облаков, и костры, окутанные им, окрашивали его полупрозрачную пелену ровным желтым светом. Маленькие пучки соломы, поглощаемые наступающей волной жара, напоминали шевелящиеся клубки красных червей, а в самом пламени воображение угадывало оскаленные рты, высунутые языки, горящие глаза и иные зловещие формы, от которых, как птицы из гнезда, то и дело разлетались искры.

Созерцая такую картину, Оук понял, что дело серьезнее, нежели он предполагал. Сквозь дым виднелась еще одна гора снопов, до сего момента не тронутая огнем, а за ней ряд других. Совсем близко к горящему сену, а не отдельно от него, как показалось Габриэлю сперва, хранилась большая часть урожая, который дала ферма. Перемахнув через ограду, Оук увидел, что он не один. Первый встреченный им человек метался из стороны в сторону так суетливо, словно мысли на несколько ярдов опережали никак не поспевавшее за ними тело.

– Пожар! Пожар! Огонь – хороший хозяин, но плохой слуга, то бишь наоборот... Сюда, Марк Кларк! И ты сюда, Билли Смоллбери! Мэриэнн Мани, Джен Когген, Мэтью – все сюда!

Стало ясно, что Габриэль не только не был в одиночестве, но находился в многолюдной компании: среди клубов дыма замелькали фигуры, чьи тени подпрыгивали в джиге, вторя пляшущему пламени, а отнюдь не собственным хозяевам. Собравшиеся (люди той части общества, где мысли принято выражать посредством чувств, а чувства – посредством движения) принялись за работу с примечательной беспорядочностью.

– Сделай так, чтоб под пшеницу не дуло! – крикнул Габриэль ближайшему из них. Хранилище зерна стояло на каменных сваях, и желтые блики уже лизали их, будто играя. Стоило этой риге загореться – все пропало. – Несите смоленую парусину! Скорей!

Пшеницу завесили полотнищем. Языки пламени тотчас устремились ввысь, перестав продвигаться под сваи. Габриэль продолжал отдавать указания:

– Пусть кто-нибудь возьмет ведро воды и поливает занавесь! – Теперь огонь, разрастаясь, угрожал углам огромной крыши. – Лестницу!

– Она была прислонена к навесу соломенной риги и уже сгорела дотла, – отозвался из облака дыма некто, похожий на привидение.

Оук ухватил подрезанные края снопов, будто собирался дергать из них солому для кровли, и, помогая себе посохом, взобрался по скирде на конек навеса. Усевшись верхом, он стал при помощи своего крюка сбивать загоревшиеся клочья.

– Принесите мне палку, лестницу и ведро воды!

Билли Смоллбери, один из тех, в чьей повозке Габриэль спал, нашел запасную лестницу. Марк Кларк проворно взобрался по ней на крышу. Ему передали воду, и он стал плескать Оуку в лицо, чтобы тот не задохнулся от дыма. Сам Оук теперь сбивал со скирды частицы огня, держа в одной руке посох, а в другой – буковую ветвь.

Крестьяне, суетившиеся внизу, по-прежнему старались погасить огонь, однако толку было мало. Залитые оранжевым светом, людские фигурки мелькали среди причудливых теней. За углом самой большой скирды, еще не озаренной ярким светом близкого пламени, стоял пони со своею наездницей – молодой женщиной. Рядом была другая особа женского пола, пешая. По всей вероятности, они держались от огня в стороне, чтобы животное не пугалось.

– Пастух, – сказала вторая из женщин. – Оно сразу видно, что пастух – кто ж еще? Смотрите, как сверкает крюк его посоха, когда он колотит им по скирде! А кафтан-то, бьюсь об заклад, прожжен до дыр! Сдается мне, мэм, этот парень славный работник!

– У кого же он служит пастухом? – ясным голосом промолвила всадница.

– Не знаю, мэм.

– Может, другие знают?

– Никто не знает, я всех расспросила. Нездешний, говорят.

Женщина на пони выехала из тени и с тревогою огляделась.

– Не загорелся бы амбар!

– Как по-твоему, Джен Когген, амбар не загорится? – спросила ее служанка первого, кто оказался рядом.

– Теперь-то уж нет – я, по крайности, так думаю. Ежели бы пшеничная рига сгорела, от нее полыхнул бы и амбар. Но тот храбрый малый, пастух, здорово нам подсобил: влез наверх и обмахивает скирду. Вертит ручищами, ровно мельница.

– Да, он усерден, – сказала наездница, глядя на Габриэля сквозь шерстяную шаль, прикрывавшую лицо. – Хотела бы я, чтобы он работал у меня. Знает ли кто-нибудь его имя?

– Здесь о нем и слыхом не слыхивали.

Огонь меж тем пошел на убыль. Габриэлю больше не нужно было сидеть на крыше, и он стал спускаться.

– Мэриэнн, – сказала всадница, – ступай к тому человеку и, когда он сойдет на землю, скажи, что я хочу поблагодарить его за службу.

Мэриэнн подошла к пшеничной риге и передала Оуку слова хозяйки.

– А где он, ваш фермер? – спросил Габриэль, сходя с лестницы.

Мысль о том, что сейчас он наконец получит место, воодушевила его.

– Не фермер, а фермерша.

– Фермой управляет женщина?

– Так и есть, пастух. Женщина, да какая богатая! – сказал крестьянин, проходивший мимо. – Приехала сюда недавно, издалека. Ферма ей в наследство от дяди досталась, который внезапно помер. Прежний-то хозяин греб деньжата полупинтовыми кружками, и племянница теперь, поговаривают, со всеми кестербриджскими банками дела ведет. Может играть в «кинь и подбрось» соверенами, как мы с тобою полпенсовиками. Ей-богу, пастух!

– Да вон она, на пони сидит, – произнесла Мэриэнн, указывая на хозяйку. – Голова закутана в черную шаль с прорезями.

Черты лица Габриэля Оука сделались неразличимы под слоем грязи и копоты, с прожженного кафтана стекала вода, а посох обгорел, став шестью дюймами короче. Со смирением – добродетелью, преумноженной пережитыми невзгодами, – неудачливый фермер приблизился к стройной деве, сидевшей на пони. Остановившись у самых ее ног, свисающих из седла, Габриэль почтительно и не без галантности снял шляпу.

– Не требуется ли вам пастух, мэм? – произнес он, поколебавшись.

Размотав шаль, хозяйка фермы открыла лицо, выражавшее крайнее удивление. Габриэль Оук и его жестокосердная возлюбленная Батшеба Эвердин стояли друг против друга. Она промолчала. Тогда он повторил печальным и сконфуженным голосом:

– Не нужен ли вам пастух, мэм?

## Глава VII

### Возобновлённое знакомство. Боязливая девушка

Батшеба отступила в тень, не зная, счесть ли столь удивительную встречу забавной или же неловкой. В том, что она теперь испытывала, была небольшая доля жалости и крошечная доля ликования. Первое чувство относилось к положению Оука, второе – к ее собственному. Нет, хозяйка фермы вовсе не смутилась, а о признании в любви на Норкомбском холме она вспомнила лишь затем, чтобы отметить про себя, что почти о нем позабыла.

– Да, – ответила Батшеба, приняв горделивый вид. Впрочем, когда она вновь поглядела на Габриэля, цвет ее щек сделался чуть теплее. – Пастух мне нужен, но...

– Работник он что надо, мэ, – тихо сказал житель деревни, стоявший рядом.

Убежденность одного укрепляет убежденность другого.

– Вот уж верно! – подтвердил второй крестьянин.

– Дельный парень! – от сердца прибавил третий.

– Толковый! – с горячностью воскликнул четвертый.

– Раз так, пускай поговорит с управляющим, – решила Батшеба.

Как прозаически сложились обстоятельства этой встречи, которая могла бы быть исполнена поэзии, если бы двое свиделись летним вечером вдали от посторонних глаз!

Габриэлю указали управляющего, и он отправился обсудить с ним условия найма. Поднеся руку к груди, Оук ощутил, как забилося сердце, оттого что Астарта<sup>11</sup>, явившаяся ему в столь своеобразном облики, есть та самая Венера, которую он знал и которой восхищался.

Тем временем огонь угас.

– Люди! – обратилась Батшеба к своим работникам. – Вы трудились в неурочный час и теперь должны подкрепить силы. Прошу всех в дом.

– Нам было б куда привольней, мисс, если б вы послали угощение в солодовню Уоррена, – ответил один из крестьян – выразитель общего мнения.

Батшеба на пони скрылась в темноте, а ее работники, разбившись по парам и тройкам, побрели к деревне. Оук и управляющий остались возле риги вдвоем.

– Пожалуй, мы все с тобою уладили, – сказал последний. – Пойду-ка я к себе. Доброй ночи, пастух.

– Не поможете ли мне с жильем? – спросил Габриэль.

– Чего не могу, того не могу, – ответил управляющий, проходя мимо Оука, как христианин проходит мимо тарелки с пожертвованиями, когда не желает расставаться с монетой. – Ступай по той дороге в солодовню Уоррена, куда все пошли подкрепиться. Там тебе подскажут, где заночевать. А пока прощай, пастух.

Показав, до чего он чтит заповедь: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», управляющий зашагал вверх по склону холма, а Оук направился в деревню, все еще потрясенный недавнею встречей. Он рад был тому, что оказался подле Батшебы, и поражен тем, с какою быстротою простая девушка из Норкомба преобразилась в степенную владелицу фермы. Порой женщины очень скоро приспособляются к переменам в жизни.

Размышлять, однако, было не время. Сперва Габриэлю следовало подыскать себе ночлег. Обходя церковный двор вдоль ограды, он очутился под сенью вековых деревьев. Шум его шагов поглотила трава, не утратившая мягкости даже в зимнюю пору, когда все вокруг сковывал холод. Приблизясь к стволу, казавшемуся еще старше других, Оук увидел, что за деревом кто-то стоит. Не замедлив шага, Габриэль случайно задел ногою камень, и тот пока-

<sup>11</sup> Астарта (Иштар) – ближневосточная богиня любви.

тился, издав звук, заставивший неподвижную фигуру вздрогнуть. За деревом стояла худенькая девушка, слишком легко одетая.

– Доброй ночи, – сердечно приветствовал ее Габриэль.

– Доброй ночи, – отозвалась она, приняв непринужденную позу.

Голос девушки оказался на удивление приятен: низкий и нежный, он сулил отраду любви – такие голоса нередки в романах, однако редки в жизни.

– Скажи, верно ли я иду к солодовне Уоррена? – спросил Габриэль, словно лишь для того, чтобы не сбиться с дороги, но в глубине души желая опять услышать мелодичные звуки.

– Верно. Солодовня будет, как спуститесь с холма. А знаете ли вы... – Девушка помолчала. – Знаете ли вы, до которого часа открыт постоялый двор «Голова оленя»?

По всей видимости, ее очаровала приветливость Габриэля, а Габриэля заворожил ее голос.

– Об этом постоялом дворе мне ничего не известно. А ты направляешься туда?

– Туда... – Незнакомка вновь замолчала. Более сказать было нечего, и то, что она все же нашлась, как продолжить разговор, свидетельствовало о несознаваемом желании изобразить непринужденность – у людей, не привыкших кривить душою, такие намерения обыкновенно заметны. – Вы не из Уэзербери будете? – робко осведомилась девушка.

– Нет, я новый пастух. Только что прибыл.

– Всего лишь пастух? А держитесь почти как фермер...

– Всего лишь пастух, – повторил Оук, понизив голос, и в его словах прозвучала печаль безысходности.

Мысли Габриэля обратились в прошлое, а взгляд – под ноги молодой особы, и тут только он заметил лежавший на земле узелок. Девушка, по-видимому, проследила за переменю в его лице и потому вкрадчиво произнесла:

– Вы ведь никому в приходе не скажете, что встретили меня здесь? Хотя бы день или два?

– Я буду молчать, раз ты об этом просишь.

– Вот спасибо! Я бедна и хочу, чтобы обо мне никто ничего не знал.

Девушка, умолкнув, поежилась.

– В такую ночь не помешало бы пальтишко, – заметил Габриэль. – Не лучше ли тебе укрыться в каком-нибудь доме?

– Ах, нет. Прошу вас, идите своею дорогой, а меня оставьте. Спасибо за добрые слова.

– Я пойду, – сказал Оук и, подумав, прибавил: – Если ты в затруднении, то, может, согласишься принять от меня этот пустяк? Всего только шиллинг, большим я помочь не могу.

– Да, приму, – благодарно проговорила девушка и протянула руку, а Габриэль протянул свою.

Несколько мгновений они искали в темноте ладони друг друга, чтобы передать монету, и за столь малое время произошло нечто, говорившее о многом. Пальцы Оука тронули запястье девушки, и он почувствовал, с какою трагической быстротою и силою бьется под кожей жилка. Точно так стучала кровь в жилах его ягнят, когда их гнали слишком быстро. Видно, незнакомка, как и они, принуждена была с чрезмерной расточительностью расходовать жизненные соки, которые у нее теперь почти иссякли, ежели судить по очертаниям субтильного тела.

– Что с тобою?

– Ничего.

– Но я вижу!

– Нет, нет, нет! Никому не говорите, что меня повстречали.

– Хорошо. Не скажу. Доброй ночи.

– Доброй ночи.

Девушка так и осталась неподвижно стоять у дерева, а Габриэль пошел в деревню Узербери, именуемую также Нижним Прудом. Ему казалось, будто, соприкоснувшись с незнакомым хрупким созданием, он погрузился во тьму глубочайшей скорби. Однако мудрость велит нам не слишком доверять впечатлениям, и Габриэль старался не думать более о той встрече.

## Глава VIII

### Солодовня. Беседа за кружкой. Известия

Солодовня Уоррена обнесена была старою стеной, увитой плющом. В столь поздний час Габриэль уже не мог разглядеть как следует самого строения, однако назначение последнего вполне угадывалось по контурам, темневшим на фоне неба. На коньке тростниковой крыши, нависавшей над стенами, высилось маленькое подобие башни из поперечных дощечек, сквозь которые струился пар, едва видимый в ночном воздухе. Окна в передней стене не было, зато дверь имела застекленное отверстие, и из него на поросшую плющом ограду лился уютный теплый свет. Изнутри доносились голоса. Подобно слепому Елиме-волхву<sup>12</sup>, Оук вытянул руку и нащупал кожаный ремень, дернув за который поднял деревянную щеколду. Дверь распахнулась.

Помещение освещалось одной лишь печью, распространявшей над полом струи красноватого света, похожего на лучи заходящего солнца. На стенах вырисовывались тени, преувеличенно повторяющие каждую выпуклость и впадину на лицах собравшихся. На шербатых каменных плитах была протоптана дорожка, ведущая от двери к печке. С одной стороны располагалась длинная изогнутая скамья с высокою спинкой из неструганого дуба, а в дальнем углу стояла небольшая кровать, на которой часто леживал хозяин – солодовник.

Сейчас этот старец сидел у печи. Шапка снежно-белых волос и длинная борода венчали согбенную фигуру, подобно мху или лишайнику, разросшемуся на безлиственной яблоне. На солодовнике были штаны до колен и высокие шнурованные ботинки. Глаза его неотрывно глядели на огонь.

Нос Габриэля тотчас ощутил приятный сладковатый дух свежего солода. Разговор (шедший, по-видимому, о причине пожара) немедленно прекратился, и все присутствовавшие смерили вошедшего оценивающими взорами, что выразилось в наморщивании лбов и сужении глаз, словно бы от слишком яркого света. По завершении сей зрительной операции некоторые из крестьян раздумчиво протянули:

– А, так это, должно быть, новый пастух!

– Мы слышали, как кто-то снаружи шарил по двери, да подумали, что это ветер гоняет листья. Входи, пастух. Милости просим, хотя и не знаем, как тебя звать.

– Я зовусь Габриэлем Оуком.

Заслышав это имя, седовласый солодовник, сидевший посередине, повернулся, как поворачивается проржавелый кран.

– Не может быть, чтобы ты был внук Гейбла Оука из Норкомба!

Сие восклицание выражало удивление, и всем присутствовавшим надлежало понимать его именно так, а отнюдь не в буквальном смысле.

– Моего отца, как и моего деда, тоже звали Габриэлем, – спокойно ответил Оук.

– То-то я подумал, что лицо твое мне знакомо, когда увидел тебя на риге! Ей-богу, подумал! Куда путь держишь, пастух?

– Подумываю обосноваться здесь, – сказал мистер Оук.

– Много лет я знал твоего деда! – продолжал солодовник, причем слова сыпались из него сами собою, будто под действием инерции.

– В самом деле?

– И бабушку!

---

<sup>12</sup> Слепление иудейского лжепророка Елимы, пытавшегося отвратить проконсула Сергия Павла от веры, описано в книге Деяний апостолов (13:6–12).

– И ее?

– И отца твоего знал мальчишкой. Они с моим Джейкобом были названные братья. Правду я говорю, Джейкоб?

– А то! – откликнулся сын солодовника – молодой человек лет шестидесяти пяти, чья голова наполовину полысела, а рот лишился едва ли не всех зубов, кроме верхнего левого резца, торчавшего горделиво, как маяк на пустынном берегу. – Только Джо водился с ним больше моего. Зато Уильям, мой сын, покуда не уехал из Норкомба, должно быть, знал вот этого самого парня. Верно, Билли?

– Нет, его знал Эндрю, – отозвался Билли – дитя лет сорока, в чьем угрюмом теле помещалась, очевидно, веселая душа.

Усы его кое-где приобрели уже голубовато-серый оттенок, сделавшись похожими на мех шиншиллы.

– Я помню Эндрю, – сказал Оук. – Он жил у нас в деревне, когда я был совсем еще ребенком.

– Мы с младшей дочкой Лидди ездили давеча моего внука крестить, – продолжил Билли. – Как раз об их семье разговор зашел. То было Сретение, и беднякам раздавали гроши из церковных сборов. Все они в ризницу поплелись. Так мы потому и вспомнили ихнее семейство, что они тоже бедные были.

– Давай-ка, пастух, пропусти с тобою по хорошему глотку! Всего по глоточку – о чем и говорить? – произнес солодовник, отводя от печи глаза (от многолетнего глядения на огонь они помутнели и сделались красными, как киноварь). – Джейкоб, давай сюда господипомилуй! Да погляди, не простыла ли!

Джейкоб склонился над большой двуручной кружкой, именуемой господипомилуй. Она стояла на углях, закоптелая, потрескавшаяся от жара и покрытая накипью – особенно в углах над ручками, откуда, по всей вероятности, годами не счищали хмельную пену, запекающуюся вместе с золой. Однако для завсегдатаев солодовни это, как видно, не являлось недостатком: кромка кружки была отполирована ими до блеска. Отчего в деревне Уэзербери и ее окрестностях сей сосуд получил название «господипомилуй», доподлинно неизвестно. Возможно, из-за внушительных размеров: выпивохе, видевшему его дно, впоследствии надлежало каяться.

Джейкоб, которому велено было проверить, горяча ли брага, деловито погрузил в нее указательный палец на манер термометра. Провозгласив, что питье разогрето в самый раз, он снял «господипомилуй» с угля и учтиво обмахнул донце полою своего кафтана, ибо Оук был гостем, пришедшим издалека.

– Чистую кружку для пастуха! – распорядился хозяин.

– Что вы, какая в том нужда?! – возразил Габриэль тоном деликатной укоризны. – Я грязи не гнушаюсь, ежели она чистая и я знаю, откуда она взялась. – Приняв «господипомилуй», он отпил столько, что содержимое убыло на дюйм или поболее, а затем, как полагалось, передал кружку сидевшему рядом. – К чему утруждать соседей мытьем посуды, когда у них и без того работы по горло! – заключил Габриэль, переведя дух, что обыкновенно бывает необходимо после хорошего глотка.

– Вижу, малый ты разумный и учтивый, – сказал Джейкоб.

– Спору нет! – подтвердил проворный Марк Кларк – приятнейший молодой человек из числа тех, кто всякому попутчику становится приятелем, со всяким приятелем пьет, а всякому, с кем пьет, предоставляет платить за двоих.

– Остался хлеб с беконом, что прислала фермерша. С закуской-то хмельное лучше пойдет. Только покуда я нес окорок, он у меня на дорогу выпал и малость перепачкался. Но это, как ты, пастух, сказал, чистая грязь, а сам ты вроде не брезглив.

– Нисколько! – дружелюбно откликнулся Оук.

– Ты жуй поменьше – и не заметишь, что на зубах скрипит! Мы грязи не боимся – была бы смекалка!

– Вот и я так думаю.

– Весь в деда! Тот славный был человек, не задавака какой! – промолвил солодовник.

– Пей, Генри Фрэй, пей! – великодушно возгласил Джен Когген, становившийся сущим сен-симонистом<sup>13</sup> в вопросе равного дележа, когда сосуд, передаваемый по кругу, приближался к нему.

Генри, до сих пор печально глядевший в пространство перед собою, не отказался выпить. Это был человек, давно достигший средних лет. Высоко подняв брови, он частенько сетовал на то, сколь дурно устроен мир. Причем взгляд Генри, долгий и страдальческий, устремлялся, минуя слушателей, в глубь этого самого мира, им критикуемого и преломляемого призмой его воображения. Свое имя Генри писал и всех принуждал писать «Генери». Если же от какого-нибудь школьного учителя ему доводилось слышать, что это старо и неверно, он неизменно отвечивал, гордо чеканя по слогам: Ге-не-ри – именно так его нарекли при крещении и именно так он намерен называться до конца своих дней. Очевидно, Фрэй принадлежал к тем, кто убежден, будто вопросы орфографии всяк волен решать по своему усмотрению.

Мистер Джен Когген, передавший Фрэю кружку, был багроволицым толстяком с лукавым блеском в глазах. В последние два десятка лет приходские книги Уэзербери и соседних деревень множество раз упоминали его как дружку или главного шафера на свадьбах, ему же нередко отводилась роль восприемника на крестинах, обещавших быть веселыми.

– Давай, Марк Кларк, давай! В бочонке еще полно! – произнес Джен ободряюще.

– Меня уговаривать не надо. Я только выпивкой и лечусь, – ответил Марк Кларк.

Бывший двадцатью годами моложе Коггена, он вращался на той же орбите, радуясь всякой возможности блеснуть остроумием на многолюдном празднике.

– А ты, Джозеф Пурграсс, чего не промочишь горло? – спросил мистер Когген, передавая кружку застенчивому человеку, сидевшему сзади.

– Он у нас скромняга, – пояснил Джейкоб Смоллбери. – Верно я говорю, Джозеф? У тебя ведь так и недостало духу поглядеть в лицо нашей молодой госпоже?

Все посмотрели на Пурграсса с укоризненным сожалением. Тот словно бы уменьшился: подобно другим кротким людям, он тяготился излишним вниманием к своей персоне.

– Я на нее почти совсем не глядел, – пробормотал Джозеф. – А когда все же взглянул потихоньку, щеки у меня так и вспыхнули.

– Бедняга! – протянул Марк Кларк.

– Это довольно-таки странно для мужчины, – заметил Джен Когген.

– Да, – продолжал Пурграсс. Собственная стеснительность, обыкновенно воспринимаемая им болезненно, сейчас явила ему повод для своеобразной гордости, позволив ощутить себя исключительным феноменом. – Все время, пока она со мной говорила, я только и делал, что краской заливался.

– Верю, Джозеф. Нам известно, какой ты застенчивый.

– Должно быть, нелегко бедному парню приходится с таким даром, – молвил солодовник. – И давно это у тебя?

– Ага. Еще с мальчишества. Мать моя очень уж тревожилась. Но что ни делала, все без толку. Так-то.

– А пробовал ли ты выйти на люди, Джозеф Пурграсс? Глядишь, помогло бы.

– Как не пробовать! С кем только я не знался! Меня даже на Гринхиллскую ярмарку возили, а там такое творилось! Женщины на лошадях скакали стоя, да еще почти что голые

---

<sup>13</sup> Анри де Сен-Симон (1760–1825) – французский философ, один из «отцов» утопического социализма.

– в одних сорочках!.. Мне это ни капельки не помогло. А потом я посыльным служил в «Дамском кегельбане» в Кестербридже на задворках постоянного двора. Грешное место! Не работа была, а сплошной стыд для порядочного человека – с утра до ночи глядеть распутным людям в лицо. Но и после такого я не излечился. Краснеть – это у нас родовое. Давно в семье так повелось. Хорошо еще, что я не хуже отца и деда вышел.

– Оно конечно, – согласился Джейкоб Смоллбери, мысленно углубляясь в изучение обсуждаемого предмета. – Ежели с этой стороны взглянуть, то могло быть и хуже. Однако тебе и так несладко, какой ты есть. Видишь, пастух? Что для девицы хорошо, то для парня, черт побери, сущее наказание.

– Верно, – отозвался Габриэль, выходя из задумчивости. – Досадное свойство для мужчины.

– А еще он до крайности боязлив, – заметил Джен Когген. – Работал как-то раз поздно вечером в Йелберийской лощине и капельку выпил, а на обратном пути заплутал в лесу. Ведь так дело было, мастер Пурграсс?

– Ой, не надо! – взмолился Джозеф, заставив себя усмехнуться, чтобы скрыть беспокойство.

– Итак, он совсем сбился с дороги, – продолжал мистер Когген, бесстрастностью своего лица показывая, что правдивый рассказ, подобно времени и воде, должен течь своим чередом, никого не щадя. – Бредет парень один среди ночи, еле живой со страху, никак из чащи не выберется. «Эй! Кто-нибудь! Ау!» – вопит. А в ответ ему филин из дупла: «Хо-о-о! Хо-о-о! Хо-о-о!» Слыхал, пастух, как филины ухают? – Габриэль кивнул. – Так нашему бедолаге примерещилось, будто ему говорят: «Кто-о-о? Кто-о-о-? Кто-о-о?» Он весь задрожал и рапортует: «Джозеф Пурграсс из Уэзербери, сэр!»

– Ну уж нет! Это слишком! – воскликнул боязливый малый, в котором вдруг проснулась отвага. – «Сэр» я не говорил! Поклясться готов, что не сказал: «Джозеф Пурграсс из Уэзербери, сэр!» Что правда, то правда: никогда я не величал птицу сэром! Или я, по-твоему, не знаю, что ни один человек благородного звания не станет ночью ухать на дереве?! «Джозеф Пурграсс из Уэзербери» – вот как я сказал, да и того не сказал бы, если б не проклятая медовуха! Благодарение Богу, на этом вся история и кончилась.

О том, называл ли Джозеф сову сэром или же не называл, компания спорить не стала, и Джен глубокомысленно заключил:

– Трусливей парня не сыскать. Был с ним и другой случай. Потерялся он как-то на Ягнячьем холме. Верно говорю, Джозеф?

– Верно, – подтвердил Пурграсс, показывая своим теперешним видом, что при иных обстоятельствах его природная застенчивость все же отступает.

– Так вот. Дело тоже было ночью. Добрался Джозеф до заставы и хочет ворота отворить. И так пыжится, и сяк, а они ни в какую. Понял Джозеф, что тут без лукавого не обошлось, и плюх на колени.

– Ага, – расхрабрился Пурграсс. От тепла печи, от выпитого сидра и от сознания того, что его история всем интересна, робкий малый преисполнился несвойственной ему уверенности. – Душа во мне так и замерла. Тогда я стал на коленки и прочел «Отче наш» и «Верую», а потом десять заповедей повторил – все с усердием. Ворота не открываются. Стал я читать «Возлюбленные братья мои...»<sup>14</sup>, а ведь больше я ничего не знаю. Если б и это не помогло, пиши пропало. Дошел до «...повторяя за мною» и поднялся с колен. Гляжу – ворота открылись. Так-то соседи!

Погрузившись в размышления, навеянные этим рассказом, все устремили взгляды на угли, раскалившиеся, точно пустыня под полуденным солнцем. Вокруг суженных глаз

<sup>14</sup> Текст, произносимый священником в начале англиканского вечернего богослужения.

залегли морщины – частью от яркого свечения, частью от серьезности затронутого предмета. Оук первым нарушил тишину:

– Каково у вас здесь живет и хорошо ли работает под началом вашей хозяйки?

В груди Габриэля что-то тихо встрепенулось, когда он прилюдно помянул ту, любовь к которой таил в своем сердце.

– Так мы о ней, почитай, ничего и не знаем. Всего лишь несколько дней будет, как она сюда приехала. Дядя ее слег, послали за доктором, да только не помогла лекарская премудрость. Племянница, сдается мне, не думает ферму продавать.

– Верно говорит, – подтвердил Джен Когген. – А семейство почтенное. Служить у них куда лучше, чем туда-сюда мыкаться. Покойный хозяин достойный был человек. Сам-то ты, пастух, знал его? Старого холостяка?

– Нет, не знал вовсе.

– Я бывал у него в доме, когда ухаживал за первой женою. Она, Шарлотта моя, ходила там за коровами. Добрейшей души человек был фермер Эвердин. А я был парень приличный, и мне дозволялось приходить, видаться с невестою и пить столько эля, сколько пожелаю. Только с собой не уносить. Кроме как в пузе.

– Оно понятно!

– А эль был отменный, ну и хотелось мне показать, что я малый благовоспитанный и ценю хозяйскую доброту. Ежели б я выпил с наперсток, фермеру бы обида вышла...

– Твоя правда, мастер Когген, – согласился Марк Кларк.

– Так я стал, прежде чем идти в гости, съесть побольше соленой рыбы. В горле делалось сухо, ровно в корзине из-под извести, и эль славно лился внутрь! Эх! Золотое было время! До чего хорошо меня в том доме угощали!.. И ты, Джейкоб, бывало, со мной ходил – помнишь?

– Помню, как не помнить, – отозвался Джейкоб.

– А в «Голове оленя» в Духов день тоже подавали выпивку что надо.

– Так-то оно так, да только высшего сорта напиток, такой, от которого рогатый не мерещится, можно было только на кухне у фермера Эвердина отведать. Сквернословие там вовсе не дозволялось. Даже когда все уже порядком развеселятся, никто чертыхнуться не смел. А ведь для разгулявшейся души крепкое словцо – такое облегченье!

– Верно говоришь, – заметил солодовник.

– Всякий хотя бы изредка непременно выругаться должен. Не то сам не свой будет. Такова уж наша природа. Грешному человеку без грешного слова не прожить!

– А Шарлотта, – продолжал Когген, – никакого сквернословия себе не позволяла. Ни словечка всуе не скажет... Ах, бедная моя Шарлотта. Попала ли она на небеса, после того как померла? В жизни-то ей не больно везло. Могла и по смерти в преисподнюю угодить, горемычная.

– А знал ли кто из вас отца и мать мисс Эвердин? – осведомился Оук, не без труда направляя беседу в нужное русло.

– Я знал их немного, – откликнулся Джейкоб Смоллбери. – Они в городе жили, а не тут. Давно уж померли. Отец, что за люди были родители нашей мисс?

– Ну, – начал солодовник, – он был такой, что и поглядеть особо не на что. А она была красавица. Он, пока в женихах ходил, нарадоваться на нее не мог.

– Целовал ее, говорят, по дюжине, а то и по сотне раз кряду, – прибавил Джен.

– А как поженились они, гордился ею очень.

– Да, и я слыхал об этом, – продолжил Когген. – Он до того любовался женою, что трижды за ночь свечку зажигал, чтоб на нее поглядеть.

– Безмерная любовь! Не думал я, что она взаправду есть во вселенной... – тихо проговорил Джозеф Пурграсс, склонный к философическим размышлениям немалого масштаба.

– Выходит, есть, – кивнул Габриэль.

– Все сущая правда. Я обоих знал. Левай Эвердин – так звали парня... Хотя «парень» я неверно сказал: на самом-то деле он был не из простых. Портной был, шил для господ, они ему в фунтах платили. А удержать деньги он не умел: раза два или три банкротом его объявляли.

– А я думал, он был человек обыкновенный, – сказал Джозеф.

– Какой там! Огромное богатство спустил! Гору золота и серебра!

Солодовник, мучимый одышкой, умолк, и мистер Когген, рассеянно поглядев на уголек, упавший в золу, снова взял нить повествования в свои руки.

– Хотите верьте, хотите нет, – произнес он с таинственной миной, – но папаша мисс Эвердин был прелюбодей, каких поискать. Не хотел изменничать, а ничего с собою поделывать не мог. Желал быть верным мужем, но душа его так и рвалась куда не надобно. Он мне говорит однажды так горестно: «Когген, – говорит, – женщины красивее моей не сыскать, однако раз она мне теперь законная супруга, подлое сердце на грех меня толкает». А потом, помнится, излечился он: вечерами, как закроет лавку, заставлял жену снимать кольцо и девичьим именем ее звал. Сидели они вдвоем, и мнилось ему, будто он не с женою вовсе, а с любовницей, седьмую заповедь нарушает. Так прежняя страсть к нему и вернулась. Снова зажили они душа в душу.

– Не по-божески это – так излечиваться, – пробормотал Джозеф Пурграсс. – И все-таки нужно небо возблагодарить, что не вышло чего похуже. Он ведь мог совсем с пути сбиться и погрязнуть во грехе – в страшном грехе.

– Так дело-то вот в чем, – вмешался Билли Смоллбери, – человек хотел поступать как полагается, да сердце его не слушалось.

– А потом он выправился и зажил благочестиво, верно, Джен? – осведомился Пурграсс.

– Он причастился, стал «аминь» кричать чуть не громче священника, а еще завел привычку утешительные вирши с надгробий переписывать. Денежную тарелку носил, когда читали «Так да светит свет ваш...»<sup>15</sup>, крестил бедных незаконнорожденных ребятишек, а ящик для пожертвований держал прямо у себя на столе, чтобы заказчик, когда к нему приходит, не мог отвертеться. Приютским мальчишкам, которые в церкви хихикали, оплеухи давал, да так, что они чуть с ног не валились. Словом, жил в зрелые годы, как подобает добродушному христианину.

– Только о высоком и помышлял, – прибавил Билли Смоллбери. – Однажды Тердли, священник наш, встретил его и говорит: «Здравствуйте, мистер Эвердин! Славная сегодня погодка!» А Эвердин ему в ответ: «Аминь...». О вере, стало быть, думал, когда пастора повстречал.

– Дочка ихняя тогда дурнушка была, – заметил Генери Фрэй. – Никто и не чаял, что она, как вырастет, такая видная станет.

– Вот бы и нрав у ней оказался под стать лицу!

– Оно да, только фермой и нашим братом все равно управляющий распоряжаться будет. Эх!

Сказав это, Генери поглядел на огонь, и на его лицо легла многозначительная ироническая улыбка.

– А управляющий тот еще христианин! Ровно дьявол в клобуке, как говорится, – произнес Марк Кларк.

– Так и есть, – ответил Генери уже без улыбки. – Скажу тебе по секрету: сдастся мне, что этот малый ни в будний, ни в воскресный день солгать не постыдится. Такое мое мнение.

– Ну и ну! Какие, однако, речи вы здесь ведете! – подивился Габриэль.

---

<sup>15</sup> Евангелие от Матфея (5:16).

– Речи наши правдивы, – отозвался Генери, склонный все видеть в черном свете, и, оглядев компанию, горестно усмехнулся, как усмехается мудрец, яснее других понимающий, сколь несовершенен этот мир. – Люди бывают такие и сякие, но этот – избави Боже!

Габриэль подумал, что настала пора переменить предмет разговора.

– Ты, солодовник, должно быть, очень старый человек, раз у тебя сыновья уж поселились?

– Он своим годам давно счет потерял, верно, отец? – сказал Джейкоб. И, оглядев фигуру родителя, сгорбленную еще сильнее, нежели его собственная, прибавил: – Совсем согнулся. Прямо в три погибели.

– Согнулся, да покамест не сломался, – откликнулся старик скорее мрачно, нежели шутливо.

– Пастуху охота послушать про твое житье, так ведь, пастух?

– Еще как охота! – подтвердил Габриэль, будто в самом деле не один месяц мечтал услышать этот рассказ. – Сколько же тебе лет, солодовник?

Откашлявшись преувеличенно громко, старик устремил взгляд в самую глубь печи и заговорил так медлительно, как говорят лишь о предметах, несомненная важность которых заставляет любого слушателя терпеть сколь угодно торжественную речь.

– Года, в который я родился, мне не припомнить. Зато я помню, где жил и по сколько. Может, так я свой возраст и сочту. До одиннадцати лет я, значит, рос на Верхнем Пруды. – Солодовник кивком указал на север. – Потом семь годов в Кингсбуре прожил, – он кивнул на юг, – там и ремеслу выучился. Оттуда уехал в Норкомб: двадцать два года варил брагу, двадцать два года репу растил и хлеб жал. Да, знавал я то место, когда тебя, мастер Оук, еще и в помине не было. – Габриэль искренно улыбнулся. – Затем поехал я в Дарновер: там тоже репу мотыжил и брагу варил. Прибавляй еще четыре и четыре года. Потом четырнадцать раз по одиннадцати месяцев нанимался к старому Твиллсу в Миллпонд-Сент-Джудс. – Солодовник кивнул на северо-северо-запад. – На дольше Твиллс меня не брал, чтоб меня к ихнему приходу не приписали, ежели бы я вдруг калекой сделался. Потом перебрался я на три года в Меллсток, а уж из Меллстока сюда. На Сретенье минул тридцать один год, как я здесь живу. Ну, сколько вышло?

– Сто семнадцать лет, – усмехнулся другой старец, по-видимому предпочитавший считать, нежели беседовать, ибо до сих пор он сидел в своем углу, никем не замеченный.

– Это, стало быть, и есть мой возраст, – важно заключил солодовник.

– Да нет же, отец! – возразил Джейкоб. – Репу ты мотыжил летом, а брагу варил зимой тех же годов. Кто ж зимы и лета отдельно считает?

– Молчал бы лучше! По-твоему, летом я не жил? Или, может, скажешь еще, что я вовсе вчера родился?!

– Бог с тобою, никто так не скажет! – успокоительно произнес Габриэль.

– Ты человек очень старый, – подтвердил Джен Когген, – нам всем это ведомо. Должно быть, солодовник, ты на диво хорошо устроен, раз так долго живешь, верно я говорю, братцы?

– Верно, верно, устройство у тебя, солодовник, отменное! – единодушно подхватили собравшиеся.

Хозяин сделался так великодушен, что слегка приуменьшил свою заслугу (каковой было в его глазах его же собственное долгожительство), сказав, будто кружка, из которой все угощаются, тремя годами старше.

Все принялись изучать кружку, а тем временем из кармана пастушеского кафтана Габриэля показался конец флейты, и Генери Фрэй воскликнул:

– Пастух! Никак это ты играл сегодня на кестербриджской ярмарке!

– Я, – признался Оук, чуть покраснев. – Большая беда довела меня до этого. Прежде я был не так беден, как нынче.

– Не печалься, дружище! – подбодрил его Марк Кларк. – Живи себе, не горюй, придет твое время. А сейчас, пастух, ежели ты не очень из сил выбился, не сыграешь ли нам чего повеселее?

– С самого Рождества не слыхал я ни труб, ни барабанов, – сказал Джен Когген. – Сыграй, мастер Оук!

– Что ж, можно, – ответил Габриэль, доставая флейту и соединяя друг с другом ее части. – Инструмент мой плох, соседи. Не судите строго. Сыграю, как смогу.

И он дважды исполнил «Плута на ярмарке», а потом повторил задорный напев в третий раз, весьма артистически покачиваясь, подергиваясь и отбивая такт ногой.

– А славно он дует в свою дуду! – заметил молодой человек, именуемый просто «мужем Сьюзен Толл» за неимением других отличительных особенностей, достойных упоминания. – Вот бы и мне так научиться!

– Он человек умный, и для нас большая отрада – иметь такого пастуха, – пробормотал Джозеф Пурграсс, понизив голос. – Благодарение Богу, что он играет старые добрые песни, а не срамное что-нибудь. Господь ведь мог послать нам распутного пастуха – дурного, так сказать, человека. А послал вот его. Для наших жен и дочерей это очень хорошо.

– Правильно говоришь: хорошо! – решительно подтвердил Марк Кларк, хотя из всего произнесенного Джозефом слышал от силы слова два.

– Хорошо, – повторил Пурграсс, начиная ощущать себя библейским мужем. – Ведь нынче порок процветает: порой не знаешь, кто тебя скорей надует – нищий бродяга или господин в белоснежной рубашке, чисто бритый.

– Да, припоминаю твое лицо, пастух, – проговорил Генери Фрэй, сосредоточенно вперив затуманенный взор в Габриэля, который тем временем заиграл другую мелодию. – Теперь я вижу, что ты тот самый, кто играл в Кестербридже. Так же рот кривил и глаза таращил, точно удавленник.

– Ага. Человек, когда во флейту дует, очень уж на пугало делается похож. Незадача-то какая! – критически подметил Марк Кларк, наблюдая за физиономией музыканта.

Черты Габриэля исказились в тот момент особенно уродливой гримасой, неизбежной при исполнении «Матушки Дурден»:

У матушки у Дурден пять служанок было.

Пять служанок было, чтоб коров доить...

– Ты, пастух, не сердись, что этот малый так неучтиво про лицо твое говорил? – тихонько спросил Джозеф.

– Нисколько не сержусь, – ответил мистер Оук.

– А то ведь от природы ты собой хорош, – прибавил Пурграсс, любивший доставить собеседнику приятность.

– Ты, пастух, парень хоть куда, – подхватили все.

– Спасибо вам, соседи, – ответил Габриэль с подобающей скромностью, подумав про себя, что никогда не станет играть на флейте в присутствии Батшебы.

Мысль эта явилась плодом прозорливости, которую, быть может, даровала Габриэлю сама божественная изобретательница его инструмента – мудрейшая Минерва.

– Когда я венчался с моею женою в норкомбской церкви, все говорили, будто более пригожей парочки в округе не сыскать, – произнес старый солодовник, раздосадованный, что внимание собравшихся перешло к другому предмету.

– Видать, с тех пор ты чуток переменялся! – произнес кто-то с такой энергией, с какой провозглашаются лишь самые непререкаемые истины.

То был старик, сидевший в дальнем углу. Когда все кругом смеялись, он только изредка ухмылялся, дабы не показывать своего сварливого недоброжелательного нрава чересчур откровенно.

– Да нет же, зачем так?! – проговорил Габриэль.

– Ты, пастух, больше не играй, – сказал муж Сьюзен Толл, подав голос во второй раз за вечер. – Мне уж домой пора, а куда музыка не кончится, я уйти не могу – будто привязали меня. А если все ж таки уйду, мне грустно будет, что тут на свирели играют, а я не слышу.

– К чему тебе спешить, Лейбен? – спросил Когген. – Прежде ты, бывало, допоздна засиживался.

– Вы ж знаете, соседи, женился я недавно. Теперь к жене прилеплен, ну и того... – парень сконфуженно замолчал.

– Стало быть, верно говорится: новая метла чисто метет, – заметил Когген.

– И впрямь верно, – рассмеялся молодой человек, не имевший обыкновения принимать шутки с обидою.

Простившись со всеми, он вышел из солодовни. За ним последовал Генери Фрэй. Вскоре поднялся Джен Когген, пригласивший Габриэля к себе на ночлег. Когда все были уже на ногах, Фрэй в спешке вернулся и, воздев перст, устремил зловещий взор на первый встреченный им предмет – физиономию Джозефа Пурграсса.

– Что такое, Генери? Что стряслось? – проговорил Джозеф, пятясь.

– В чем дело, Генери? – спросили Джейкоб и Марк Кларк.

– Управитель Пеннивейз! Управитель Пеннивейз! Так я и знал!

– Неужто он на воровстве попался?

– То-то и оно: на воровстве! Мисс Эвердин, когда с пожара домой вернулась, вышла снова на двор, чтоб поглядеть, все ли спокойно, – так уж заведено у нее. Так вот. Выходит хозяйка и видит: из амбара крадется управляющий Пеннивейз и тащит полбушеля ячменя. Она прыг на него, как кошка, – ей ведь палец в рот не клади! Только вы об этом никому?

– Никому, Генери, будь покоен.

– Набросилась, значит, на вора, и он признался, что уж пять мешков таким манером вынес. Хозяйка обещала на него не заявлять, однако от ворот поворот он, ясное дело, получил. Кто ж теперь, братцы, спрашиваю я, управляющим будет?

Сложность вопроса принудила Генери залпом отпить из огромной кружки столько, что показалось дно. Не успел он поставить ее на стол, как вбежал муж Сьюзен Толл, совсем запыхавшийся:

– Слыхали, о чем по всему приходу говорят?

– Про управителя Пеннивейза?

– Нет, про другое!

– Про другое не слыхивали! – ответили все и воззрились на Лейбена Толла так, будто хотели поскорее вынуть из него слова, еще не произнесенные.

– Ну и жуткий выдался вечерок! – забормотал Джозеф Пурграсс, размахивая руками, точно в конвульсиях. – Недаром в левом ухе у меня будто колокол звонил, как если б убили кого, а еще я одинокую сороку на дереве видел!

– Фэнни Робин, молоденькую служанку мисс Эвердин, нигде найти не могут! Собрались на ночь двери запирать, а ее нету. Спать не ложатся – вдруг она снаружи. Никто бы так не встревожился, только уж больно унылая она в последнее время ходила. Мэриэнн думает, не случилось ли с бедняжкой то, после чего курунер<sup>16</sup> приезжает.

---

<sup>16</sup> Коронер – должностное лицо, в чьи обязанности входит изучение причин внезапных смертей с целью установления

– Сгорела! – пролепетал Джозеф Пурграсс пересохшими губами.

– Нет, утопла! – воскликнул Толл.

– Или отцовской бритвой себя полоснула! – предположил Билли Смоллбери, охотник до эффективных деталей.

– Покуда мы спать не отправились, мисс Эвердин хочет переговорить с одним или двумя из нас. Бедняжка чуть рассудка не лишилась: сперва управляющий, потом Фэнни!

По дороге, ведущей к фермерскому дому, поспешно двинулись все, кроме старого солодовника, которого ни дурные вести, ни пожар, ни дождь, ни гроза не могли вытащить из его норы. Когда звуки шагов стихли вдали, он, по обыкновению, устался в печь красными помутневшими глазами.

Батшеба в таинственном белом облачении выглянула сверху, из окна своей спальни. Ее лицо и плечи были едва различимы во мгле.

– Есть ли среди вас мои люди? – взволнованным голосом обратилась она к пришедшим.

– Несколько человек будет, мэм, – ответил муж Сьюзен Толл.

– Я хочу, чтобы завтра двое или трое из вас порасспросили жителей окрестных деревень, не видал ли кто девушку по имени Фэнни Робин. Только осторожно: шум поднимать еще не время. Верно, она ушла, пока мы пожар тушили.

– Прошу прощения, мэм, но не было ли у ней в приходе какого ухажера?

– Не знаю.

– Никогда мы о таком не слышали, – слышалось с разных сторон.

– Если б был у девушки жених, – сказала Батшеба, – не пьяница и не разбойник, он посещал бы ее в этом доме. Я бы вовсе не встревожилась из-за отсутствия Фэнни, да только Мэриэнн видела, как она выходила в одном только рабочем платье, даже чепца не надела.

– То бишь вы, мэм, хотите сказать, что девица не выйдет на свидание к своему любезному, ежели не принарядилась? – произнес Джейкоб, окидывая мысленным взором свой житейский опыт. – Верно, мэм, не выйдет.

Из другого окна донесся женский голос, принадлежавший, очевидно, Мэриэнн:

– При Фэнни, сдается мне, был узелок, да только я не разглядела его как следует. А из здешних парней она ни с кем не зналась. Жених у ней в Кестербридже. Вроде в солдатах служит.

– Знаешь ли ты его имя? – спросила Батшеба.

– Нет, хозяйка, Фэнни скрытная была.

– Может, я в казарме разузнаю, кто он таков, ежели туда поеду? – промолвил Уильям Смоллбери.

– Что ж, если завтра она не вернется, тогда поезжай и разыщи того солдата. У девушки нет ни друзей, ни родных, я за нее в ответе. Только бы с ней чего худого не сделалось! А еще этот подлый управляющий... Нет, о нем я сейчас говорить не стану. – Приобретя за один вечер так много причин для тревоги, Батшеба, по-видимому, не сочла нужным выделять ни одну из них. – Делайте, что велено, – заключила она, закрывая окно.

– Все исполним, хозяйка! – ответили люди и разошлись.

Расположившись на ночлег в доме Коггена, Габриэль Оук заслонился от мира завесой опущенных век и дал волю воображению. Внутренняя жизнь забурлила в нем, подобно воде, быстро бегущей под коркою льда. Во тьме Батшеба обыкновенно являлась ему особенно зримо; вот и теперь, влекомый неторопливым течением ночных часов, он с нежностью созерцал ее образ. Нечасто бывает, чтобы грезы наяву утоляли боль бессонницы, однако именно это происходило теперь с Габриэлем: радость от встречи с Батшебою оказалась столь велика,

что на время стерла осознаваемое им различие между возможностью только лишь видеть предмет и возможностью обладать сим предметом.

От мыслей о Батшебе Оук перешел к размышлениям, как бы перевезти из Норкомба свой скудный скарб и книги: «Спутник юноши»<sup>17</sup>, руководства по кузнечному ремеслу и ветеринарной хирургии, Мильтонов «Потерянный рай», «Путь паломника» Беньяна, «Робинзона Крузо» Дефо, словарь Эша и «Арифметику» Уокингейма. Библиотека Габриэля Оука была невелика, однако благодаря вниманию и усердию он почерпнул из нее больше дельных мыслей, чем подчас водится в голове у того, кто с детских лет имел в своем распоряжении многие тысячи томов.

---

<sup>17</sup> В книге Джорджа Фишера «Наставник, или Лучший спутник юноши», впервые опубликованной в 1733 году и многократно переиздававшейся, в доступной форме излагаются сведения из различных областей знаний, от орфографии до арифметики.

## Глава IX

### Усадьба. Посетитель. Полупризнание

При свете дня жилище Батшебы Эвердин, новой госпожи Оука, оказалось строением старинным. Архитектор усмотрел бы в нем приметы раннего Возрождения, причем пропорции красноречиво свидетельствовали о первоначальном его назначении (отнюдь не редком для построек такого рода): прежде это было фамильное гнездо хозяев небольшого поместья, которое, наряду с другими скромными усадьбами, перешло в руки богатого арендодателя, лишь изредка посещающего свои владения.

Фасад украшали рифленые пилястры, вытесанные из цельных каменных глыб. Печные трубы были отделаны панелями или имели форму колонн. Фронтоны венчались крестоцветами и подобными витиеватыми фигурами, унаследованными от готического стиля. Каменная кладка замшела, словно ее выложили подушками из поблеклого коричневого вельветина. На крышах ближайших низеньких построек зеленели ростки заячьей капусты. От двери дома до дороги тянулась тропка, тоже утопавшая во мху: он был серебристо-зеленым и широко разросся по обеим сторонам, лишь в середине оставив полоску орехового гравия шириною в один или два фута.

Если здесь все казалось погруженным в сон, то с другой стороны здания взгляду открывалась совершенно иная картина: по всей вероятности, приспособивая дом под собственные нужды, фермер повернул его внутреннее устройство так, что прежний задний фасад сделался лицом. Постройки былых времен – а то и целые города, – возводившиеся исключительно ради удовольствия первых владельцев, нередко страдают от подобных поворотов и уродливых метаморфоз.

Тем утром из верхних комнат дома доносились оживленные голоса. Главная лестница, ведущая во второй этаж, изготовлена была из дуба. Балясины, выточенные в причудливом старинном вкусе, толщиной не уступили бы столбикам кровати, а массивные перила могли бы окаймлять парапет моста. Ступени тянулись вверх, изгибаясь, как человек, который оглядывается через плечо. Поднявшись по лестнице, обитатель или гость дома ступал на поверхность, образованную бесконечным чередованием возвышенностей и впадин. За неимением ковров (их на время убрали) глазу было видно, что неровные половицы изрядно поедены червем. На открывание или закрывание любой двери все окна отзывались лязгом, на каждое стремительное движение – дрожанием. Их скрип, подобно привидению, всюду следовал за человеком, вторя его шагам.

В комнате, откуда доносились голоса, вошедший увидел бы Батшебу и ее наперсницу Лидди Смоллбери. Сидя на полу, женщины разбирали гору из бумаг, книг, бутылок и всевозможных ненужных старых вещей, что остались в кладовых после прежнего хозяина. Лидди, правнучка солодовника, казалась одних лет с Батшебою и являла собой яркий образец веселой английской девушки. Несовершенство черт лица с лихвою восполнялось совершенством красок: сейчас, в зимнюю пору, мягкий румянец делал круглое нежное лицо Лидди похожим на те лица, некрасивые, но миловидные, что глядят на нас с полотен Терборха и Герарда Дау. Чинная серьезность, которую девушка порой на себя напускала, происходила частью от искреннего чувства, частью от сознания долга и приличий.

Из-за приоткрытой двери было слышно, как скребет пол щетка в руках Мэриэнн Мани. Избороздившие ее круглое лицо морщины были не столько следами времени, сколько следствием долгого недоуменного глядения на далекие предметы. Мысль о Мэриэнн Мани улучшала расположение духа, а желание описать ее словесно неизменно воскрешало в памяти образ сушеного нормандского яблочка.

– Погоди-ка минутку, не скреби! – крикнула Батшеба через дверь. – Я слышу какой-то шум.

Мэриэнн замерла. Со стороны парадного входа раздавался стук лошадиных копыт: видно, всадник, пустив коня шагом, въехал в ворота и проследовал к крыльцу по замшелой тропе, давно от этого отвыкшей. В дверь постучали тростью или рукояткой хлыста.

– Ну и дерзость! – негромко проговорила Лидди. – Взять вот этак и протопать прямо к дому! Чего бы ему у ворот не остановиться?.. Ах, Боже мой! Да он джентльмен! Я вижу шляпу!

– Тихо! – сказала хозяйка. Лидди умолкла, однако не перестала выражать свое беспокойство красноречивым взглядом. – Отчего это миссис Когген не идет открывать? – Стук зазвучал решительнее. – Мэриэнн, ступай ты! – распорядилась Батшеба, трепеща под натиском предчувствий романтического свойства.

– Мэм, я ж в такой грязище вожусь!

Взглянув на Мэриэнн, Батшеба предпочла не настаивать.

– Тогда ты, Лидди, ступай и отвори.

Лидди подняла руки, по локоть покрытые пылью от хлама, который она разбирала вместе с госпожой, и устремила на последнюю умоляющий взгляд.

– Ох, миссис Когген наконец-то идет! – сказала Батшеба с облегчением.

Дверь отворилась, и низкий голос спросил:

– Дома ли мисс Эвердин?

– Пойду погляжу, сэр, – ответила миссис Когген и через минуту была уже наверху.

Эта почтенная служительница, с виду женщина крепкая и здоровая, имела не один голос, а несколько, и каждый предназначался для выражения определенного чувства. Кроме того, она умела с поистине математической точностью орудовать шваброй и перевертывать блинчики. Сейчас ее руки были белы от муки, а с ладоней свисали клочки налипшего теста.

– Вот жизнь окаянная! – посетовала миссис Когген. – Пудинг спокойно не приготовишь! Только заведешь – или нос зачесется (а у меня мочи нет чесотку терпеть), или постучать кто вздумает. Мисс Эвердин, там к вам мистер Болдвуд приехал.

– Я не могу принять его в таком виде! – тотчас ответила Батшеба, ибо платье для женщины есть неотделимая часть ее самой, и любой изъян в наряде воспринимается ею столь же трагически, как грязь или рана, безобразящая лицо. – Что же делать?!

У фермерш Уэзербери не в обыкновении было сказываться отсутствующими, посему Лидди предложила:

– А вы скажите, что запылились чуток и сойти не можете.

– И впрямь! Чем не ответ? – согласилась миссис Когген, поразмыслив.

– Просто передай, что я не могу сейчас его принять. Этого довольно.

Спустившись, миссис Когген сказала, как ей велели, но от себя все же прибавила:

– Хозяйка бутылки вытирает, сэр, и вся перепачкалась.

– Что ж, очень хорошо, – равнодушно ответил низкий голос. – Я, собственно говоря, лишь затем заехал, чтобы узнать, нет ли известий о Фэнни Робин.

– Нет, сэр, разве что к вечеру будут. Уильям Смоллбери уехал в Кестербридж, где у нее вроде как жених живет. А другие наши люди в округе всех порасспросят.

Конский топот, раздавшийся снова, стих, дверь закрылась.

– Кто таков мистер Болдвуд? – осведомилась Батшеба.

– Помещик из Литтл-Уэзербери.

– Женат?

– Нет, мисс.

– Сколько ему лет?

– Лет около сорока. Собой, я бы сказала, хорош, хотя суровый на вид. И богат.

– Какая досада от этого вытиранья пыли! Вечно меня застают врасплох! – жалобно воскликнула Батшеба. – С чего бы ему справляться о Фэнни?

– Так она ж была сирота без друзей и родных, и мистер Болдвуд отдал ее в школу, а потом устроил в услуженье к вашему дядюшке. Он, сосед ваш, человек хороший, но вот же Боже мой!..

– Что?

– Для женского пола безнадежный. Много их было – девушек, что пытались его на себе женить! Со всей округи съезжались – и простые, и благородные. Джейн Перкинс два месяца трудилась, как рабыня, а сестры Тейлор целый год потратили. Дочь фермера Айвза море слез пролила и двадцать фунтов на новые наряды спустила. Боже праведный! Деньги эти все равно как в окошко вылетели!

В эту минуту в комнату вошел мальчуган. Дитя принадлежало к семейству Коггенов, а Коггенов и Смоллбери в окрестностях Уэзербери было столько же, сколько в Англии рек, называемых Эйвон и Дервент. Этот ребенок всегда мог похвастать перед друзьями расшатанным зубом или пораненным пальцем, что и делал с такою гордостью, будто сие увечье возвышало его над остальным человечеством. Окружающим полагалось восклицать: «Бедный мальчик!» – не столько жалея, сколько поздравляя страдальца.

Сегодня мастер Когген явился с сообщением иного рода. Окинув лица женщин внимательным взглядом, он объявил:

– А мне дали пен-ни!

– Кто дал, Тедди? – спросила Лидди.

– Мисс-террр Болд-вуд. Я ему ворота открыл.

– И что он сказал?

– Сказал: «Куда путь держишь, малыш?» Я говорю: «К мисс Эвердин». А он говорит: «Она женщина почтенная?» А я говорю: «Да».

– Ах ты, проказник! И зачем ты этак сказал?

– Потому что он дал мне пенни.

– Какая суета в доме! – произнесла Батшеба недовольным голосом, когда мальчик ушел. – Давай, Мэриэнн, возьмишь снова за щетку или еще за что-нибудь. Тебе пора бы замуж выйти, а не мне докучать.

– Оно верно, хозяйка, пора! Да только бедные люди мне не нужны, а богатым я не нужна. Вот и торчу одна, ровно пеликан среди пруда.

– А вам, мисс, предложение делали? – отважилась спросить Лидди, оставшись с госпожою наедине. – Многие, должно быть?

Батшеба, провозглашенная почтенной дамой и немало этим раздосадованная, помолчала, словно не считала нужным отвечать, однако девичье тщеславие так и подмывало ее открыть правду.

– Один человек звал меня замуж, – вымолвила она тоном многоопытной матроны, и образ Габриэля Оука, бывшего еще фермером, встал у нее перед глазами.

– Как это, должно статься, приятно! – проговорила Лидди, застыв в задумчивости. – И вы ему отказали?

– Он был для меня недостаточно хорош.

– Это, поди, так распрекрасно, если можешь презирать мужчину! А ведь я слыхала, что наша сестра чаще принуждена бывает любому спасибо говорить. Куда приятней сказать: «Нет, сэр, вы мне не чета!» или: «Целуйте мне ноги, сэр, а лик мой пускай целуют те, кто поважнее вас!» Вы его любили, мисс?

– Разве что нравился самую малость.

– И сейчас все так же нравится?

– Конечно же, нет! Чьи это шаги я слышу?

Лидди поглядела из окна на задний двор, уже несколько потускневший под тонкими покрывами сумерек. К дверям тянулась искривленная вереница людей. Связанные общим намерением, они напоминали цепочку сальпов: эти морские существа обособлены друг от друга, однако все семейство стремится к единой цели. Некоторые из пришедших были в белоснежных парусиновых блузах, иные в светло-коричневых со сборчатым узором в виде медовых сот на запястьях рукавах, груди и спине. За мужчинами следовали две или три женщины в деревянных башмаках.

– Филлистимляне идут на нас!<sup>18</sup> – сказала Лидди, так прижавшись к стеклу, что кончик носа побелел.

– И хорошо. Мэриэнн, ступай вниз. Пускай обождут в кухне, покуда я переоденусь, а потом проводи их в залу.

---

<sup>18</sup> Перефразированная цитата из Книги Судей Израилевых (16:20).

## Глава X

### Госпожа и работники

Спустя полчаса Батшеба, одетая как подобает хозяйке и сопровождаемая Лидди, вошла в старинную залу, где ее поджидали люди, расположившись на двух длинных скамьях у противоположной стены. Сев за стол, госпожа раскрыла книгу, взяла перо и высыпала горсть монет из холщового мешочка. Лидди села рядом и принялась за шитье. Время от времени она отрывалась от работы, чтобы с видом привилегированной персоны оглядеться по сторонам или же взять со стола один из полусоверенов и восхититься им как произведением искусства, стараясь никоим образом не выказать практического интереса к сему предмету.

– Мне надобно сказать вам две вещи, – начала Батшеба. – Первая касается до управляющего. Прежнего я уволила за воровство, а нового у вас не будет, ибо впредь я намерена жить своею головою и своими руками. – Послышался вздох всеобщего изумления. – Теперь второе. Слышно ли что-нибудь о Фэнни?

– Ничего, мэм.

– Вы старались о ней разузнать?

– Я встретил фермера Болдвуда, – сказал Джейкоб Смоллбери. – Он, я и двое его людей обыскали пруд близ новой мельницы, но ничего не нашли.

– А пастух, которого вы вчера наняли, ездил в «Голову оленя», что близ Йелбери. Думал, девушка туда направилась, однако никто ее там не видал, – сказал Лейбен Толл.

– Был ли Уильям Смоллбери в Кестербридже?

– Поехал, мэм, но еще не вернулся. Обещал к шести.

– Без четверти шесть! – заметила Батшеба, посмотрев на часы. – Пора бы уже... – Она перевела взгляд на свой журнал. – Джозеф Пурграсс, здесь ли ты?

– Да, сэр, то бишь да, мэм. Я зовусь Пурграссом.

– Кто ты?

– По собственному моему разумению, так, пожалуй, никто, а что люди говорят, того пересказывать не стану. Молва сама за себя скажет.

– Какую работу делаешь на ферме?

– Круглый год вожу на телеге, ежели что надо, грачей и воробьев стреляю, когда сеют, а еще свиней помогаю колоть, сэр.

– Сколько тебе причитается?

– Извольте девять и девять да полпенса взамен той монеты, что негодной оказалась, сэр, то бишь, мэм.

– Верно. Вот получи еще десять шиллингов. Небольшой подарок по случаю моего прибытия. – Сказав это, Батшеба слегка покраснела: проявлять щедрость на людях было ей в новинку.

Генери Фрэй, встав со своего места и приблизясь к госпоже, изумленно поднял брови и воздел руки. Хозяйка продолжала:

– А тебе я сколько должна, человек, что сидит в углу? Как твое имя?

– Мэтью Мун, мэм, – произнес некто, казавшийся вешалкою для своего крестьянского наряда, ибо сколько-нибудь внушительного тела под одеждою не угадывалось.

Это странное существо поплелось к хозяйскому столу, выворачивая ступни то наружу, то внутрь (как будто они вертелись у него на шарнирах).

– Мэтью Марк, ты сказал? – переспросила Батшеба ласковым голосом. – Говори громче, я тебя не обижу.

– Мэтью Мун, мэм, – исправил хозяйку Генери Фрэй, который подобрался уже к самому ее стулу и навис над спинкою.

– Мэтью Мун, – повторила Батшеба, устремляя ясный взор в книгу. – Тебе полагается десять и два пенса с полпенсовиком, верно?

– Да, миссис, – произнес Мэтью так, словно ветер поворошил мертвые листья.

– Возьми. И десять шиллингов в придачу. Теперь Эндрю Рэндл. Ты, я слышала, человек новый? Почему с прежней фермы ушел?

– П-п-п-п-п-прош-ш-шу, м-м-м-м-мэм...

– Заика он, – пояснил Генери Фрэй вполголоса. – Век ничего внятного сквайру не говорил, а однажды возьми да и брякни: «Я, мол, сам себе хозяин». И других безобразий наплел. За то его и прогнали. Бранится, мэм, не хуже нас с вами, а что надобно, того сказать не может.

– Эндрю Рэндл, вот твои деньги. И не благодари, а то до послезавтра ждать придется. Темперанс<sup>19</sup> Миллер... Ах, и еще Собернесс<sup>20</sup>... Полагаю, обе женщины?

– Да, мэм, это мы, – в унисон ответили два визгливых голоса.

– Каков род ваших занятий?

– Глядим за молотилкой, ворошим сено, шугаем кур и петухов, чтоб не клевали ваших семян, а еще картошку садим – раннюю и «Томпсонову чудесную».

– Понятно, – ответила Батшеба и тихо спросила у Генери Фрэй: – Хорошие женщины?

– Ох, мэм, и не спрашивайте! Сговорчивы донельзя! Блудницы, каких свет не видывал! – прорычал старик себе под нос.

– Сядь.

– Кто, мэм?

– Сядь.

Увидев, что Батшеба отрывисто отдала какое-то приказание, а Генери отполз в угол, Джозеф Пурграсс вздрогнул. Губы его мгновенно пересохли от предчувствия чего-то ужасного.

– Теперь Лейбен Толл. Остаешься ли ты у меня работать?

– У вас, мэм, иль у любого другого, кто хорошо заплатит, – отвечивал молодожен.

– Верно! Ведь должен человек на что-то жить! – донесся из дальнего конца залы голос женщины, которая только что вошла, стуча деревянными башмаками.

– Кто она? – спросила Батшеба.

– Его законная жена! – произнес голос, сделавшись еще громче и внушительней.

Сьюзен Толл называлась двадцатипятилетней, однако по виду ей было тридцать, по слухам – тридцать пять, а в действительности – все сорок. В отличие от других женщин, недавно вышедших замуж, она никогда прилюдно не показывала нежности к супругу – вероятно, оттого, что не испытывала таковой.

– Ах, вот как! – сказала Батшеба. – Что ж, Лейбен, остаешься ты или нет?

В ответ снова раздался пронзительный глас законной жены Лейбена:

– Остается, мэм!

– Он, наверное, и сам сказать может?

– Господь с вами, мэм! Другого такого простофили не сыскать. Работник-то он хороший, но разиня! – ответила жена.

– Хе-хе-хе! – льстиво засмеялся муж (подобно кандидату на выборах в парламент, он неизменно сохранял бодрое расположение духа под градом ругательств).

Когда остальные работники тоже были названы и получили плату за труд, Батшеба закрыла книгу.

---

<sup>19</sup> Temperance (англ.) – умеренность (в т. ч. в употреблении спиртных напитков).

<sup>20</sup> Soberness (англ.) – трезвость.

– Сдается мне, теперь я со всеми в расчете, – сказала она, отряхивая со лба выбившуюся прядку волос. – Возвратился ли Уильям Смоллбери?

– Нет, мэм.

– Новому пастуху, верно, помощник потребуется, – предположил Генери Фрэй.

Осторожными боковыми шажками он снова приближался к стулу Батшебы, желая вернуть себе почетное положение хозяйского советчика.

– Да, в самом деле. Кто бы мог пойти в подпаски?

– Каин Болл – хороший парень. Только очень уж молод. Не станет ли пастух Оук против этого возражать? – сказал Генери и с любезною улыбкой повернулся к Габриэлю, который лишь недавно появился на сцене и теперь стоял, прислонившись к столбу и скрестив руки.

– Нет, я возражать не стану.

– Отчего ж его назвали Каином? – полюбопытствовала Батшеба.

– Ах, мэм! Бедная его мамаша худо знала Святое Писание, вот и напутала при крещении. Думала, что не Каин Авеля убил, а напротив того, ну и нарекла младенца Каином, вместо того чтоб Авелем наречь. Потом священник хватился, да уж поздно было: в приходской книге исправлять не дозволяется. Большущая неудача для мальчика!

– Да, довольно-таки досадно.

– Чтобы не так обидно получалось, мы зовем его Кайни. А мать его, бедная вдовица! Чуть все сердце не выплакала! Родители ее были безбожники, ни в школу, ни в церковь дитя не посылали. Вот и поглядите теперь, мэм, как дети за грехи отцов платят. – При этих словах мистер Фрэй изобразил на своем лице легкую грусть, которую подобает испытывать рассказчику, если тот, о чьих невзгодах он повествует, не состоит с ним в родстве.

– Хорошо. Кайни Болл будет подпаском. А вам, Габриэль Оук, понятны ли ваши обязанности?

– Благодарю вас, мисс Эвердин, вполне, – отозвался Оук со своего места. – Справлюсь у вас, ежели чего-то не пойму.

Та совершеннейшая холодность, с какой Батшеба к нему обратилась, уязвила Габриэля. Не зная истории Оука, никто, конечно, не мог бы предположить, что пастух и красивая женщина, перед которою он теперь стоял, были когда-то друг другу не чужими. Из обитательницы скромного коттеджа она превратилась в хозяйку целого поместья, и, вероятно, именно это возвышение явилось причиной перемены в ее манерах. Такое нередко случается. Когда в творениях поэтов Юпитер со своим семейством переселяется из тесной квартиры на вершине Олимпа в бескрайнее небо, речи громовержца всякий раз делаются надменной и холодной.

За дверями залы послышались шаги: кто-то ступал увесисто и мерно, что, очевидно, не способствовало быстроте ходьбы. Все хором воскликнули:

– Билли Смоллбери вернулся из Кестербриджа!

– Узнал ли ты что-нибудь? – спросила Батшеба, когда Уильям промаршировал на середину залы и, достав из шляпы носовой платок, принялся отирать им лоб.

– Я бы, мисс, раньше вернулся, если б не погода. – Он поглядел на свои облепленные снегом ботинки и с силой топнул сначала одной, затем другой ногой.

– И все же воротился наконец! – заметил Генери.

– Так как насчет Фэнни? – снова спросила хозяйка.

– Ну, мэм, ежели коротко, то она сбежала с солдатами, – ответил Уильям.

– Быть не может! Такая разумная девушка, как Фэнни!

– Сейчас все подробно обскажу. Добрался я до кестербриджских казарм, а мне и говорят: «Одиннадцатый драгунский гвардейский полк ушел, заместо него здесь теперь другая часть стоит». А одиннадцатый полк еще на прошлой неделе в Мелчестер двинулся. Приказ,

как это обыкновенно случается, неожиданно прислали. Драгуны и опомниться не успели, как были уже на марше. Они тут и проходили, поблизости.

– Я видел их, – сказал Габриэль, с интересом слушавший рассказ Уильяма.

– Да, – продолжил тот. – Проскакали по улице с песней. Играли «Я девушку покинул». Этак доблестно, как говорят, победоносно. У тех, кто глядел и слушал, нутро до глубины сотрясилось от барабанного боя, а содержатели пабов и подружки солдатские прямо-таки слезы утирали!

– Но драгуны ведь не на войну ушли?

– Нет. Хотя, может статься, ушли на место тех, кто отправился воевать. Одно с другим очень даже связано. Так я и решил: ухажер нашей Фэнни из того полка был, и она, верно, за ним увязалась. Вот, мэм, как дело обстоит.

– А имя того человека ты выяснил?

– Нет, его никто не знает. Сдается мне, чином он был повыше, чем простой солдат.

Габриэль, погруженный в раздумья, ничего не сказал. Его тревожили сомнения.

– Как бы то ни было, сегодня мы едва ли узнаем больше, – заключила Батшеба. – А пока пусть кто-нибудь из вас отправится к фермеру Болдвуду и расскажет ему хотя бы это. – Госпожа поднялась, но, прежде чем удалиться, обратилась к своим людям с краткою речью, исполненной достоинства. Благодаря траурному облачению Батшебы, слова ее звучали серьезно и разумно. – Итак, теперь у вас не хозяин, а хозяйка. Мне еще неизвестно, каковы мои силы и способности по части управления фермой. Но я приложу старание, и, если вы будете хорошо мне служить, то и я сослужу вам службу. Пускай нечестные люди, каковых, надеюсь, среди вас нет, не думают, что коли я женщина, то не сумею отличить плохой работы от хорошей.

Все:

– Как можно, мэм!

Лидди:

– Вот уж отменно сказано!

– Я буду вставать прежде, чем вы проснетесь, выходить в поле прежде, чем вы встанете, и завтракать прежде, чем вы выйдете в поле. Словом, я всех вас удивлю.

Все:

– Да, мэм!

– Доброй вам ночи.

Все:

– Доброй ночи, мэм!

С горделивым видом покидая залу, сей деревенский фесмофет<sup>21</sup> зацепил подолом платья несколько соломинок, и они с шуршанием проволочлись по полу. Лидди, проникнутая торжественностью момента, последовала за Батшебою, держась почти так же величаво, в чем нельзя было не усмотреть некоторой доли карикатурности. Дверь за ними затворилась.

---

<sup>21</sup> Фесмофеты – должностные лица, исполнявшие в Древних Афинах судебные функции.

## Глава XI

### Казармы. Снег. Свидание

Трудно сыскать картину более унылую, нежели та, какую снежным вечером являл собой гарнизон на окраине городка, удаленного от Уэзербери на много миль к северу. Этот вид, пожалуй, и вовсе не следовало бы называть видом, ибо сгустившаяся темнота поглотила почти все вокруг. В такие часы даже самых бодрых людей порой настигает тоска. Любовь сменяется в восприимчивом сердце мучительной жаждой, надежда – дурными предчувствиями, вера – надеждой. Память не вызывает сожаления об упущенных возможностях, предвкушение не порождает действия.

В сумерках едва виднелась тропа справа от реки, за которой высилась стена. С противоположной стороны тропы был пустырь, поросший травой вперемежку с вереском. Вдали темнели волнообразные очертания холмов. В таких местах смена времен года менее очевидна, нежели в лесистом краю, однако внимательный взгляд непременно ее заметит. Здесь вы не встретите всем известных признаков весны или осени, таких как распускание почек или сбрасывание листьев, и все же наше воображение напрасно рисует пустошь погруженной в неизменное оцепенение: она меняется, причем не так уж медленно и не так уж неявно. Овладев пустырем близ гарнизона, зима совершила наступление, этапы коего всякий мог наблюдать: сперва уползли змеи, затем увяли папоротники, замерзли лужи, над землей повисли туманы, трава побурела от заморозков, пропали грибы, и наконец все другое исчезло под снегом.

Впервые за год неровности пустыря превратились в безликие формы – нечто, покоящееся под первым слоем снежного покрова. Просыпавшись на землю роем беспорядочно снующих хлопьев, небо снабдило пустошь новым одеянием, в котором она сделалась еще более голой, чем прежде. Огромное низкое облако странно провисло, будто свод темной пещеры. Казалось, снег, падающий с неба, и снег, лежащий на земле, вскоре сомкнутся, вовсе не оставив между собою воздуха.

Однако обратим наши взгляды налево. Здесь мы увидим лишь горизонталь реки, вертикаль стены и темноту, объявляющую то и другое. Если что-то могло быть чернее ночного неба, так только стена. Если что-то могло быть мрачнее стены, так только вода. Крыша дома очерчилась трубами, в верхних этажах слабо угадывались прямоугольники окон, внизу же, над рекою, слепая стена не имела ни единого отверстия и ни единого выступа.

Какой-то неясный звук несколько раз кряду с обескураживающей монотонностью пронзил пространство, заполненное снежным пухом. Это часы на ближайшей башне пробили десять. Колокол, густо облепленный снегом, утратил свой всегдашний голос.

Между тем снегопад пошел на убыль: двадцать падающих снежинок сменились десятью, а десять – одной. Вскоре к берегу реки приблизился некий предмет. По его очертаниям на бесцветном фоне внимательный глаз мог угадать фигуру человека, идущего медленно, но без видимого усилия: слой внезапно выпавшего снега не превысил еще двух дюймов в толщину. Послышались вслух произнесенные слова: «Раз. Два. Три. Четыре. Пять», после каждого из которых предмет продвигался на полдюжины ярдов вперед. Теперь стало ясно, что подсчитываются окна. Достигнув пятого окна от края стены, и без того маленькая фигура сделалась еще меньше, очевидно нагнувшись. Ком снега перелетел через реку и шлепнулся о стену, не достигнув цели. В этом броске мужской замысел соединился, очевидно, с женским исполнением. Любопытный мужчина, выдавший в детстве птиц, кроликов или белок, кинул бы снежок гораздо ловчее. Одна попытка следовала за другой, пока стена не покрылась белыми следами. Наконец комок снега ударился о пятое окно.

При свете дня было бы видно, что река, отделяющая тропу от стены, глубока и ровна. На середине и возле берегов она скользит с одинаковым проворством, поскольку небольшие воронки, возникая то тут, то там, сглаживают всякие различия. На поданный сигнал не ответил ни единый звук. Слышалось лишь неизменное журчанье и клокотание, дополняемое каким-то тихим шумом: печальный человек сравнил бы его со стонами, а счастливый – со смехом, в действительности же это был стук невидимых водяных колес о мелкие преграды дальше по течению.

Комок снега снова ударил в стекло. На сей раз последовал звук, сопровождавший, по всей вероятности, открывание окна. Затем донесся голос:

– Кто там?

Вопрошавший был мужчиною и не казался удивленным. Поскольку стена принадлежала казарме, а к супружеству в армии относятся с неодобрением, уже не одно тайное свидание, возможно, устроилось в тот вечер подобным образом.

– Сержант Трой? – боязливо спросила фигура, неясно темневшая на заснеженном берегу.

Сама она походила на тень, а мужской голос сливался с постройкой; получалось, что снег говорит со стеною.

– Да, – настороженно ответили из темноты. – Тебе чего?

– О, Фрэнк! Неужто ты меня не узнаешь? Я Фэнни Робин, твоя жена!

– Фэнни?! – воскликнула стена в полнейшем недоумении.

– Да, – ответила девушка, сдерживая волнение.

В ее голосе слышалось нечто, не присущее женам, а мужчина говорил таким тоном, каким редко разговаривают мужья. Беседа продолжалась:

– Как ты меня отыскала?

– Спросила, которое окно твое. Не сердись!

– Сегодня я тебя не ждал. По правде, я совсем не думал, что ты придешь. Ты могла меня и не найти. Завтра я дежурный.

– Ты сам говорил, чтоб я пришла.

– Я сказал, ты могла бы...

– Ну да. Ты рад мне, Фрэнк?

– О да. Рад.

– Ты выйдешь?

– Не могу, дорогая Фэн! Уже протрубили отбой, ворота закрыли, увольнительной у меня нет. До завтрашнего утра мы все заперты здесь, точно в тюрьме.

– Так значит до завтра я тебя не увижу! – Голос девушки разочарованно дрогнул.

– Как ты попала сюда из Уэзербери?

– Пешком. То есть часть пути прошла пешком, остальное проехала на возах.

– Удивила ты меня.

– Да я и сама удивилась. Фрэнк, а когда это будет?

– Что?

– То, что ты обещал.

– Чего-то не помню.

– Помнишь! Не притворяйся, не мучь меня! Мне совестно первой говорить то, что должен говорить мужчина.

– А ты скажи. Это ничего.

– Я? Ну изволь... Когда мы поженимся, Фрэнк?

– Вот ты о чем... Что ж, сперва добудь хорошую одежду.

– Деньги у меня есть. А мы поженимся по объявлению или по лицензии?

– По объявлению, наверное.

– Мы ведь в разных приходах живем.

– Да? И что с того?

– О нашей помолвке должны будут в обеих церквях объявить: в моей, Святой Марии, и в твоей.

– Это закон такой?

– Да. О, Фрэнк, выходит, я тебе навязываюсь?! Прошу, дорогой Фрэнк, не думай обо мне дурно, я ведь так тебя люблю! И ты столько раз обещал на мне жениться, и я... я... я...

– Ах, не плачь теперь! Это глупо! Женюсь, раз обещал.

– Так я объявлю о нашей свадьбе в своем приходе, а ты в своем?

– Да.

– Завтра?

– Нет, не завтра. Мне нужно несколько дней.

– Ты получил разрешение у начальников?

– Нет, пока нет.

– Как? Ты же еще в Кестербридже сказал, что оно у тебя почти в кармане?

– Видишь ли, я забыл спросить. Ты явилась так неожиданно!

– Да, да, мне не следовало беспокоить тебя. Сейчас я уйду. А ты наведишь меня завтра у миссис Твиллс на Норт-стрит? Я бы не хотела снова приходить сюда. Тут кругом дурные женщины. Люди подумают, будто я одна из них.

– И верно, милая, не приходи. Уж лучше я к тебе. Доброй ночи.

– Доброй ночи, Фрэнк, доброй ночи!

Снова послышалось дребезжание окна: теперь оно закрылось. Маленькая фигурка зашагала прочь. Когда она миновала угол здания, из-за стены донеслось приглушенное восклицание: «Хо-хо, сержант! Хо-хо!» Затем последовали слова, произнесенные тоном увещевания, однако они потонули в хохоте, едва отличимом от бульканья маленьких водоворотов в реке.

## Глава XII

### Фермеры. Правило. Исключение

Первым наглядным доказательством того, что Батшеба в самом деле вознамерилась управлять фермой самолично, а не через поверенного, стало ее появление на кестербриджском хлебном рынке в ближайший базарный день.

Просторный зал с низким потолком, опиравшимся на балки и колонны, с недавних пор гордо именовался зерновой биржей. Сейчас здесь толпились люди, разгоряченно переговариваясь друг с другом в парах и тройках: ораторы искоса поглядывали на лица слушателей и, дабы усилить действенность своих слов, прищуривали один глаз. Многие держали в руках ясеневые трости, используемые для опоры при ходьбе, а также для того, чтобы тыкать свиней, овец, спины ближних и прочие предметы, которые мешались на пути, тем самым заслуживая такого обращения. В продолжение делового разговора гибкую палку употребляли весьма разнообразно: кто-то закидывал ее за плечи, кто-то сгибал наподобие лука, кто-то упирался ею в пол и так налегал, что она принимала форму полумесяца. Или же трость небрежно зажималась под мышкой, а в ладонь тем временем сыпалась пшеница из мешочка, вскрытого для образца. После критического изучения зерно бросали на пол, к радости сметливых городских птиц, которые потихоньку проникали под крышу и ждали осуществления своих надежд, вытянув шеи и кося глазами.

По залу, полному дородных йоменов, скользила всего одна женская фигура. Одета нарядно и даже изысканно, она лавировала среди мужчин, как легкий экипаж среди телег. В гуле голосов ее голос казался серенадой после проповеди, а движения ее казались бризом, обдувающим плечи. Чтобы прийти сюда, Батшебе потребовалось куда больше решимости, чем она предполагала. Стоило ей появиться на пороге, как басовитые разговоры стихли, и едва ли не все лица обратились к ее лицу (те, которые уже обращены были в сторону двери, просто застыли).

Из всех собравшихся фермеров Батшеба знала только двоих или троих. К ним она и направилась в первую очередь. Но чтобы показать себя женщиной деловой, новоиспеченной хозяйке поместья следовало заняться делом, а именно предлагать вопросы и отвечать на них, невзирая на то, кто из присутствующих мужчин представлен ей, а кто нет. Мало-помалу набравшись смелости для ведения разговора, Батшеба, кроме того, наловчилась сыпать зерна из чужого пробного мешочка (при ней имелись такие же свои) в узкую ладонь и разглядывать их с видом заправского кестербриджского фермера. Споря с едва знакомыми ей рослыми мужчинами, она смело подымала голову, и в плавной линии ее крепких зубов, в приподнятых уголках разомкнутых алых губ ощущалось нечто, красноречиво говорившее: в этом гибком маленьком существе довольно сил, чтобы осуществлять замыслы, весьма дерзкие для прекрасного пола. Но благодаря мягким, неизменно мягким глазам, которые, не будь они темны, были бы туманными, смелое лицо казалось не резким, а ясным.

При разговоре Батшеба всегда позволяла собеседнику закончить мысль, прежде чем высказывала собственную, – необычное свойство для женщины в расцвете сил. Она держала цену своего товара, как прирожденный продавец, а цену чужого постепенно сбавляла с истинно женским упорством. Однако в ее манере вести торг ощущалась податливость, не позволявшая настойчивости перерасти в упрямство, и наивность, не позволявшая бережливости скатиться до скупости.

Фермеры, которым еще не довелось самим беседовать с Батшебой (таких покамест было большинство), спрашивали других:

– Кто она?

– Племянница фермера Эвердина, – отвечали им. – Унаследовала его поместье близ Уэзербери, прогнала управляющего и намерена верховодить сама.

Некоторые только качали головами, а другие говорили:

– Экая упрямица! И все же славно, что она здесь. Украшает этот старый сарай. Правда, недолго ей его украшать: девица хоть куда, не сегодня завтра замуж выйдет.

Учтивости ради не станем предполагать, что магнетизм Батшебы объяснялся не только красотой ее лица и грациозностью движений, но и почти в той же мере тем, сколь необычна для девушки принятая ею роль. Отметим лишь, что интерес к ней был всеобщим, и каковы бы ни оказались ее успехи по части купли-продажи зерна, как женщина она испытала в тот субботний день несомненный триумф. Торжество ощущалось Батшебой столь остро, что временами ей хотелось позабыть о ценах и просто шествовать среди этих богов земледелия, подобно миниатюрной сестре миниатюрного Юпитера.

Многочисленные свидетельства ее способности пленять мужчин можно было назвать правилом, которое лишь подтверждалось единственным исключением. Такие исключения обыкновенно подмечаются женщинами с поразительной зоркостью – будто ленты, украшающие их головки, имеют собственные глаза. Посему Батшеба без всякого усилия, почти не приглядываясь, заметила в стаде черную овцу.

Сперва открытие озадачило прекрасную фермершу. Если бы никто не обратил на нее особого внимания (подобное прежде случалось), она перенесла бы это невозмутимо. Если ли бы все до единого были ею очарованы (случалось и такое), она приняла бы фурор как должное. Если бы равнодушные или восхищенные образовали сколько-нибудь существенное меньшинство, это было бы естественно. Однако единственность исключения казалась загадкой.

Вскоре Батшеба составила кое-какое мнение о наружности диссидента. Одет он был как джентльмен, имел римские черты, крупные и четкие, кожа в лучах солнца отливала бронзой. Незнакомец держался прямо, разговаривал спокойно. Главным свойством, его отличавшим, было достоинство. Очевидно, он достиг уже среднего возраста, перейдя рубеж, после которого облик мужчины на дюжину годов обретает естественную неизменность, а облик женщины – неизменность искусственную. Тридцать пять и пятьдесят лет – крайние вехи этой поры. Незнакомец мог стоять близ одной из них или же между ними.

Следует отметить, что если сорокалетний мужчина женат, он, как правило, склонен щедро одаривать мимолетными взглядами всех мало-мальски миловидных особ женского пола, каких только встречает на своем пути. Вероятно, для отца семейства флирт подобен игре в вист на интерес: как ни ляжет карта, платить не придется, и сознание этого благоприятствует живейшей симпатии к дамам. Батшеба твердо заключила, что равнодушный незнакомец холост.

Едва торг закончился, она поспешила к Лидди, ожидавшей ее возле желтой двуколки, которая привезла их в город. Лошадь запрягли, покупки – сахар, чай, ткани для занавесей – уложили сзади. Цвет, размер и очертания этих свертков неуловимо свидетельствовали о том, что теперь это не товар бакалейщика или торговца мануфактурой, а имущество молодой помещицы.

– Поздравь меня, Лидди, – сказала Батшеба, когда повозка тронулась. – Дело сделано. Я не прочь приехать сюда еще. В другой раз будет легче, ведь теперь все ко мне попривыкли. Хотя сперва это было похуже свадьбы – с ног до головы меня оглядели.

– Так я и знала, – ответствовала Лидди. – Мужчины большие негодники по части того, чтобы глаза пялить.

– Нашелся один разумный, который не стал тратить времени на этакий вздор, – сказала хозяйка, подобрав слова, из которых не следовало бы слишком явно, что она уязвлена. – Хорош собой, осанист. Лет, наверное, около сорока. Не знаешь, кто бы это мог быть?

Лидди не знала.

– А ты подумай хорошенько! – произнесла Батшеба с досадой.

– Ума не приложу! Да и зачем вам, коли он меньше других на вас глядел? Вот если бы больше, это другое дело!

Хозяйка остро ощутила нечто противоположное тому равнодушию, к какому призывала ее служанка, и между женщинами воцарилось долгое молчание. Лишь когда их двуколку обогнал невысокий экипаж, запряженный великолепной породистой лошастью, Батшеба воскликнула:

– Да вот же он!

Лидди поглядела вслед проехавшему мимо.

– Так это фермер Болдвуд! Ну да, он! Тот, которого вы давеча не приняли.

– Ах, фермер Болдвуд... – пробормотала Батшеба, глядя вслед удалявшейся повозке.

Он проехал, устремив безучастный взор вдаль, и ни разу не повернул головы. Словно прелестной соседки со всеми ее чарами вовсе и не было.

– Мужчина интересный, – заметила Батшеба. – Ты не находишь?

– Еще бы! Все это находят, – сказала Лидди.

– Хотела бы я знать, отчего мистер Болдвуд так замкнут и ко всему безучастен. Отчего кажется далеким от всего, что видит.

– Доподлинно это неизвестно, но люди говорят, будто он горькую обиду претерпел, когда был еще молод и весел. Подруга его обманула.

– Люди вечно говорят такое, но мы-то знаем, что на деле женщины редко обманывают мужчин. Гораздо чаще наоборот. Полагаю, он по природе своей так сдержан.

– Да, мисс. Не иначе как по природе.

– И все ж это было бы романтично – думать, будто ему, бедняжке, разбили сердце. Да может, так оно и есть?!

– Так и есть, мисс, не извольте сомневаться. Чую, что так и есть.

– Однако, думая о людях, мы часто придерживаемся крайних мнений. А ведь может быть, что он середина – немного то и немного другое: обманут женщиной и по натуре замкнут.

– Ах нет, мисс! Не может быть, чтобы он был серединою!

– Именно это вероятнее всего.

– Правильно вы говорите, мисс. Вероятней всего. Помяните мое слово, мисс: таков он и есть.

## Глава XIII

### Гадание на Святом Писании. Карточка к Валентинову дню

Был ранний вечер тринадцатого февраля. После воскресного обеда Батшеба, за неимением более подходящей компании, попросила Лидди посидеть с нею. Час, когда закрываются ставни и зажигаются свечи, еще не настал, и комнаты окутывала унылая полутьма. Сам воздух фермерского дома казался так же стар, как пропахнувшие плесенью стены. Один угол заставленной мебелью залы был холоднее другого, поелику дном здесь не топили. Новое пианино Батшебы (точнее сказать, «новоприобретенное», ибо со времени его изготовления минуло немало лет) стояло на неровном полу, словно какая-то перекошенная глыба, ожидая, что вечерние тени скроют уродливые углы.

Лидди уместно было бы уподобить неглубокому ручейку, вечно подернутому рябью. Ее общество, вовсе не грозившее излишним напряжением мысли, вполне способствовало упражнению последней. На столе лежал томик Библии в старинном кожаном переплете. Взглянув на него, Лидди произнесла:

– Не доводилось ли вам, мисс, гадать по Священному Писанию на жениха?

– Не говори чепухи, Лидди! Неужто ты в это веришь?

– Многие говорят, что такое гадание правдиво.

– Глупости, дитя!

– А уж как сердце колотится, когда ворожишь!.. Кто-то верит, кто-то нет. Я верю.

– Ну, будь по-твоему, – сказала Батшеба и нетерпеливо вскочила с кресла, проявив непоследовательность, какую мы порой без стеснения выказываем перед теми, кто стоит ниже нас. – Поди принеси ключ от передней двери.

Возвратившись с ключом, Лидди промолвила:

– Только вот воскресенье нынче. Боюсь, это грех.

– Что можно в будний день, можно и в воскресный, – изрекла хозяйка таким тоном, который сам по себе служил доказательством ее правоты.

Книгу раскрыли. Листы потемнели от времени. Те страницы, где напечатаны были часто читаемые стихи, порядком истрепались оттого, что прошлые владельцы, чтецы не слишком искусные, водили по строчкам пальцами. Батшеба отыскала в Книге Руфи стих, обыкновенно используемый для ворожбы<sup>22</sup>. Возвышенные слова смутили и взволновали гадательницу. То была встреча древней Мудрости с воплощенным Безрассудством. Воплощенное Безрассудство зарделось, однако, не отказавшись от своего намерения, положило железный ключ на раскрытую страницу. В этом месте уже темнело пятнышко ржавчины, свидетельствовавшее о том, что старинный томик не впервые использовался подобным образом.

– Теперь сиди смиренно и молчи, – сказала Батшеба.

Стих был произнесен, книга повернулась, сделав оборот. Гадательница вновь залилась стыдливым румянцем.

– На кого вы гадали? – спросила Лидди, не совладав с любопытством.

– Этого я тебе не скажу.

---

<sup>22</sup> Старинное гадание по Библии и ключу заключается в следующем. В книге отыскивается определенный стих, например: «...Куда ты пойдешь, туда и я пойду...» (Руфь, 1:16). На это место помещается бородка ключа так, чтобы кольцо осталось снаружи. Библия закрывается и перевязывается шнурком. Девушка берет книгу за выступающий конец ключа и вслух произносит стих. Если при произнесении Библия сдвинется или упадет, молодой человек, чье имя было загадано, и есть суженый девушки.

– А заметили вы, мисс, как мистер Болдвуд сегодня держал себя в церкви? – не отступала служанка, показывая новым вопросом, что догадывается, каков мог бы быть ответ на предыдущий.

– Все нет, – сказала Батшеба тоном равнодушного спокойствия.

– Его скамья прямо против вашей, мисс.

– Я знаю.

– И неужто не заметили, как он себя держал?

– Разумеется, нет, говорю же.

Лидди приняла кроткий вид и поджала губки, вознамерившись отныне хранить молчание. Батшеба пришла в замешательство, ибо не ждала, что служанка и вправду замолчит. Теперь госпожа сама была принуждена спросить:

– Так как он себя держал?

– За все богослужение ни разу головы не повернул, чтобы на вас посмотреть.

– А с чего бы ему это делать? – произнесла Батшеба в раздражении. – Я его не просила!

– Оно конечно, только на вас все глядели. Странно было, что он один не глядел. Ну да это на него похоже. Богатый и благородный – ни до кого ему дела нет.

Хозяйка погрузилось в молчание, которым желала сказать, что ее соображения слишком глубокомысленны для понимания Лидди, и дело вовсе не в том, что ей, Батшебе, просто нечего ответить.

– Ах, Боже! – воскликнула она наконец. – Я совсем позабыла о карточке к Валентинову дню, которую купила вчера!

– Вы купили карточку? Для кого? Для мистера Болдвуда?

Предположение это было ошибочно, однако в глубине души Батшеба признавала, что оно, единственное из многих возможных, не лишено смысла.

– Да нет же, для маленького Тедди Коггена. Я обещала привезти ему из города гостинец. То-то он обрадуется! Будь добра, Лидди, принести мне мой письменный прибор. Я сделаю надпись.

Батшеба извлекла из ящичка открытку с великолепным тисненым узором, купленную в прошлый базарный день в лучшей писчебумажной лавке Кестербриджа. В середине открытки имелось овальное окошко, оставленное пустым, чтоб отправитель собственной рукой начертал нежные слова, более соответствующие случаю, нежели общая фраза, которую бы мог поместить здесь печатник.

– Что мне написать? – спросила Батшеба.

– Я бы так написала, – с готовностью откликнулась Лидди, – «Розочка алеет, синеет василек, песня душу греет – точь-в-точь как ты, дружок!»

– Недурно, – согласилась Батшеба. – Для веселого краснощекого малыша эти слова в самый раз подойдут.

И она вывела нехитрые стишки мелкими отчетливыми буквами, после чего поместила карточку в конверт и снова обмакнула перо в чернила, чтобы надписать адрес.

– До чего потешно было бы послать эту открытку старому дурню Болдвуду! Вот уж он подивился бы! – сказала неугомонная Лидди, приподняв бровки.

При мысли о том, сколь солидна и уважаема жертва задуманной ею шалости, она ощутила нечто среднее между безудержной веселостью и страхом. Батшеба всерьез задумалась. Болдвуд досадил ей тем, что он, подобно пророку Даниилу, упорно преклонял колена, обращаясь лицом на восток, хотя здравый смысл велел ему, по примеру прочих, поклониться идолу ее красоты. От него ничего не требовалось, кроме восхищенного взгляда, который полагался молодой фермерше как владычице здешних мест. Не то чтобы своеобразие Болдвуда по-настоящему беспокоило Батшебу, и все же ей было чуточку обидно, что самый достойный мужчина прихода не глядит в ее сторону, а деревенская девушка Лидди об этом

рассуждает. Посему, когда Лидди предложила подшутить над фермером, Батшеба ответила скорее обеспокоенно, чем возмущенно:

– Едва ли он найдет такую выходку забавной.

– Переполошится до смерти! – с уверенностью произнесла служанка.

– А и в самом деле, – уступила госпожа. – Вовсе не обязательно дарить открытку Тедди.

Иногда он бывает такой озорник!

– И не говорите, мисс!

– Давай кинем монетку, – сказала Батшеба скучающим тоном. – Впрочем, нет. Подбрасывать деньги в воскресенье – приманивать дьявола.

– А вы подбросьте сборник гимнов. И греха не будет.

– Верно. Упадет открытым – пошлю конверт Болдвуду, закрытым – Тедди. Нет, первое вероятней второго. Пускай будет наоборот.

Книга, трепеща страницами, взлетела и приземлилась захлопнутой. Батшеба, зевнув, взяла перо и с невозмутимым видом адресовала послание Болдвуду.

– Теперь, Лидди, зажги свечу. Какую печать мы возьмем? С головой единорога? Это ни о чем не говорит. А здесь что? Два голубка? Нет. Нужно нечто необычное, верно, Лидди? Вот печатка с каким-то изречением. Прочсть сейчас не могу, но помнится мне, оно остроумно. Попробуем эту, а если не подойдет, возьмем другую. – Запечатав конверт красным сургучом, Батшеба поднесла его к глазам, чтобы разобрать слова. – Превосходно! – весело воскликнула она. – От такого даже пастор расхохочется с причетником вместе!

Лидди нагнулась над печатью и прочитала: «Женись на мне!»

Письмо в тот же вечер свезли в кестербриджскую почтовую контору. Оттуда его направили обратно в Уэзербери и уже на следующее утро вручили адресату. Дело было сделано – без раздумий, со скуки. Играть в любовь Батшеба умела недурно, но о том, каково ее испытывать, не ведала.

## Глава XIV

### Действие письма. Заря

Вечером Валентинова дня, когда смерклось, Болдвуд, по обыкновению, собрался отужинать у камина, в котором ярко горели поленья. На каминной полке стояли часы, увенчанные фигурой орла с распростертыми крыльями, а между ними помещалось присланное Батшебой письмо. На сей предмет Болдвуд глядел до тех пор, покуда большая красная печать не стала расплываться у него перед глазами. Он ел и пил, вертя в голове слова, оттиснутые на сургуче, хотя и не мог видеть их, сидя за столом.

«Женись на мне!» Дерзкое требование было подобно прозрачной субстанции, которая сама по себе бесцветна, но окрашивается цветами ближайших предметов. В безмолвии Болдвудовой гостиной, где все мрачно и где целую неделю господствовал дух пуританского воскресенья, послание Батшебы утратило первоначальное легкомыслие, впитав в себя торжественную серьезность, царившую кругом.

С самого утра, когда Болдвуду вручили письмо, он ощущал, как нарушается симметричность его существования и чаша весов клонится на сторону чистой страсти. Усмотрев в ничтожно малом предвестие необъятного, он взволновался, как Колумб, который, войдя в воды Саргассова моря, приметил пучки водорослей и подумал, что земля уже близка.

К написанию письма отправительницу должна была побудить некая причина. Разумеется, Болдвуд не мог знать или хотя бы предполагать, насколько эта причина незначительна. Ум, введенный в заблуждение, не понимает, что тот, кому он обязан этим своим состоянием, может действовать, повинувшись внутреннему зову, или же просто идти на поводу обстоятельств – при взгляде со стороны итог один и тот же. Привести вереницу событий в движение – совсем не то, что направить ее, уже идущую, в нужное русло, однако человек, сбитый с толку, не видит этого различия.

Перед тем как лечь в постель, Болдвуд поместил загадочный конверт в углу зеркальной рамы. Он не забывал об открытке, даже повернувшись к ней спиной. Никогда прежде с фермером Болдвудом такого не случалось. Те же чары, какие заставляли его думать, будто письмо прислано с определенным намерением, не позволяли ему усмотреть в этом поступке дерзость. Он в который раз устремил взгляд на конверт, и в таинственном воздухе ночи словно бы возникла сама отправительница – женщина, чья незнакомая рука нежно скользила по бумаге под присмотром незнакомых глаз, выводя имя Болдвуда. Воображение этой женщины, должно быть, в те минуты его рисовало. Только к чему бы ей о нем думать? Когда перо выписывало буквы, ее губы – красны они или бледны? пухлы или сморщены? – сложились в некую линию. Какое чувство они выражали?

Дополняя написанное, образ пишущей представлял собою лишь очертание с сокрытым лицом, и такой портрет был до некоторой степени правдив, ведь оригинал уже видел сны, позабыв и о любви, и обо всех письмах на свете. Стоило Болдвуду погрузиться в дремоту, как черты незнакомки обретали некоторую ясность; просыпаясь, он видел лишь письмо, навевшее ему эту грезу.

Ночь выдалась лунная, однако свет лился в спальню не вполне обыкновенно: бледные лучи, отраженные снегом, ложились на потолок, освещая углы, которым следовало оставаться темными, и отбрасывая тени туда, где надлежало быть свету.

Болдвуда взволновало не столько содержание открытки, сколько само то, что она ему прислана. Внезапно пришла мысль проверить, не приложено ли к письму чего-нибудь, им не замеченного. Он вскочил, вынул карточку и при одном лишь странном свете луны изучил

внутренность конверта. Конверт был пуст. В сотый раз Болдвуд поглядел на печать и вслух произнес: «Женись на мне».

Возвращая письмо на прежнее место за рамою зеркала, важный и сдержанный йомен мельком увидел отражение своего лица. Губы были плотно сжаты, а широко раскрытые глаза глядели потерянно. Раздосадованный собственной нервностью, Болдвуд опять лег.

Вскоре стало светать. В ранний час, когда небо, хотя и ясное, лило на землю меньше света, чем в полдень пропускают сквозь себя густые облака, фермер встал, оделся и, сойдя по лестнице, зашагал на восток. Приблизившись к ограде одного из своих полей, он облокотился о перекладину ворот и огляделся. Солнце поднималось медленно, как обыкновенно бывает в это время года. Небо, лиловое в вышине, на севере отливало свинцом, а на темном востоке уже показалась половина солнца. Словно покоясь на заснеженном гребне холма, оно не распространяло вокруг себя лучей и потому походило на красный безъязыкий огонь над белым камнем очага. Эта картина в той же мере напоминала закат, в какой детство напоминает старость.

В других сторонах небо до того сливалось с заснеженной землей, что не вдруг можно было различить горизонт. Однако и здесь внимательный глаз видел уже отмеченную нами странную перемену, при которой яркий свет, присущий небу, ложится на землю, а земные тени падают на небо. На западе висела убывающая луна. Побледнев, она сделалась похожа на тусклую зеленовато-желтую медь.

Болдвуд стоял, безразлично отмечая про себя, что мороз покрыл снег твердой блестящей коркой, которая сверкает в красном свете зари, точно полированный мрамор, что склон холма, укрытый ровным бледным одеялом, кое-где ошетинился пожухлыми травинками, вмерзшими в лед и оттого похожими на витиеватые украшения венецианского стекла, что следы лапок, оставленные птицами на мягком руно первого снега, теперь застыли, хотя, вероятно, ненадолго.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.